

Российские  
ропилеи

# Михаил ГЕРШЕНЗОН

Избранное.  
Молодая  
Россия



Российские Пропилеи

Михаил Гершензон

**Избранное. Молодая Россия**

«ЦГИ Принт»

2015

УДК 882  
ББК 84 Р1-4

## **Гершензон М. О.**

Избранное. Молодая Россия / М. О. Гершензон — «ЦГИ Принт»,  
2015 — (Российские Пропилеи)

Михаил Осипович Гершензон (1869–1925) – историк русской литературы и общественной мысли XIX века, философ, публицист, переводчик, редактор и издатель и, прежде всего, тонкий и яркий писатель. В том входят книги, посвященные исследованию духовной атмосферы и развития общественной мысли в России (преимущественно 30-40-х годов XIX в.) методом воссоздания индивидуальных биографий ряда деятелей, наложивших печать своей личности на жизнь русского общества последекабрьского периода, а также и тех людей, которые не выдерживали «тяжести эпохи» и резко меняли предназначенные им пути. В основе исследований Гершензона богатый архивный (особенно эпистолярный) материал. В томе публикуются три книги: «История молодой России», «Декабрист Кривцов и его братья» и «Жизнь В. С. Печерина». Перед читателем проходят декабристы М. Ф. Орлов и С. И. Кривцов, духовные вожди русской молодежи Н. В. Станкевич, Т. Н. Грановский, Н. П. Огарев и др., а также не вынесший в своих мечтах о «лучшем мире» разлада с российской действительностью молодой профессор Московского университета В. С. Печерин, эмигрант, принявший монашеский постриг и сан католического священника и закончивший свой жизненный путь в Ирландии, высоко оценившей его полный самоотверженного милосердия подвиг.

УДК 882  
ББК 84 Р1-4

© Гершензон М. О., 2015

© ЦГИ Принт, 2015

# Содержание

История молодой России{1}	7
Предисловие	7
Глава первая	12
I	12
II	14
III	16
IV	20
V	22
VI	24
VII	26
VIII	29
IX	31
X	35
XI	38
XII	40
XIII	42
XIV	46
Глава вторая	51
Глава третья	52
I	52
Конец ознакомительного фрагмента.	55
Комментарии	

## Михаил Осипович Гершензон Избранное. Молодая Россия



*М. Гершензонъ,*

# История молодой России<sup>[1]</sup>

## Предисловие

Предмет этой книги – эпизод из истории русской общественной мысли, и потому я должен начать с оправдания.

Едва ли найдется еще другой род литературы, который стоял бы у нас на таком низком уровне, как история духовной жизни нашего общества. Можно подумать, что законы научного мышления для нее не писаны. Ни однородность исследуемых явлений, ни строгая определенность понятий, ни единство метода – здесь ничего этого нет и в помине. Все свалено в кучу: поэзия и политика, творческие умы и масса, мысль и чувство, дело и слово, – и из всего этого силится выжать какую-то единую идею, которая должна представлять собой схему развития русской общественной мысли. Таковы в огромном большинстве наши «Истории русской литературы», «Истории русской интеллигенции», «Истории русской общественной мысли», и т. д. Нет спора: человек целен, и духовная эволюция общества может и должна быть сведена к единству; но до такого полного обобщения нам далеко; синтез – венец и конечная цель науки, а первый ее шаг – разделение.

При такой дикой неразборчивости понятия, материала и методов, нет ничего удивительного, что все усилия наших исследователей выяснить основные черты духовного развития русского общества не только остались в целом бесплодными, но и привели к ужасающему искажению картины нашего прошлого, к искажению фактов и перспективы, лиц и фазисов развития. Единственная заслуга этой «школы» заключается в том, что она уяснила нам ход развития русской *политической* мысли на протяжении XIX века. Заслуга, без сомнения, важная, но какой ценою куплен этот успех! Сколько умственных течений замолчано, сколько забыто высоких помыслов, светлых образов, глубоких исканий! И прежде всего, как подавлено, забито, варварски искалечено художественное чувство нашей читающей публики! И в итоге – все-таки без пользы, потому что даже эта картина развития политической мысли, взятая вне своей глубокой связи с общей историей русского общественного сознания (которая, повторяю, ни теперь, ни еще долго не может быть написана), оставалась как бы висящей в воздухе и воспринималась только умом, но не заражала читателя интуитивно, то есть теряла три четверти своей воспитательной ценности.

Пора сойти с этой широкой дороги, которая никуда не ведет, и поискать тропинок. С разделения мы должны начать и суживать наши задачи. Мы ни до чего не добьемся, пока не отделим историю общественной мысли от истории художественной литературы (то есть поэзии и критики), и в самой истории общественной мысли – историю преемственности творческих мировоззрений от истории массовых настроений. Это – грубейшие черты разделения, но они напрашиваются прежде всего, и именно с них надо начать. Первый принцип не нуждается в пояснениях, – он сам говорит за себя всякому мыслящему уму; искусство развивается в недрах общественной жизни по своим законам и имеет собственную сущность, как ребенок во чреве матери. О втором необходимо сказать несколько слов.

Во всяком общественном движении легко различить два элемента: его идейное или психологическое ядро, и ту форму, которую оно принимает в массе общества, как типичное умонастроение эпохи. *Сущность* движения всегда воплощается в немногих личностях, соединяющих в себе острую врожденную предрасположенность к очередной идее времени с недюжинной силой духа. Такой человек не всегда стоит во главе движения, не всегда даже сколько-нибудь заметно влияет на него, – да это и безразлично: важно то, что только в нем, в отдельной предрасположенной и одаренной личности зерно движения дает свой полный цвет, только в нем

раскрывается вполне смысл очередной исторической задачи. Таким образом, изучить смену общественных идей в их сущности (а именно такую цель ставит себе история общественной мысли) – значит изучить эти идеи в их индивидуальной углубленности, в лице их типичнейших представителей. Соответственное умонастроение массы общества должно рассматриваться при этом только как почва, из которой выросла типическая индивидуальность и соками которой она питается. Сказанным нисколько не умаляется важность изучения и массовых умонастроений, они составляют существенный элемент в общей истории народа, наравне с явлениями политического, социального, экономического быта; но они лишены самостоятельного идейного значения.

Нам нужно освободиться от привычки рационализировать понятие общества, как люди XVIII века рационализировали понятие «человек». Общество, без сомнения, живет единой жизнью, но оно живет ею в людях. Исследуя его жизнь, забудем о нем на время; пусть образ его единства сам собою возникнет у нас из пристального изучения отдельных личностей и пусть красная нить его развития выступает наружу в живой преемственности личных стремлений. Общество – абстракция; общество не ищет, не мыслит, не страдает; страдают и мыслят только отдельные люди, и на известной глубине их сознание течет в одну сторону, по одному руслу: исследуем эту глубину отдельных сознаний, и мы узнаем направление общественной мысли. Этого требуют не только элементарные законы научности, но и та воспитательная задача, которую ставит себе всякое гуманитарное знание. В тяжелой работе духа. Стремящегося постигнуть мир и свое призвание в нем, знакомство с эволюцией человеческой мысли вообще и с умственным развитием родного общества в особенности, – могущественное и драгоценное подспорье. Но что могут дать юноше отвлеченные схемы, эта алгебра миропознания? Его собственные запросы и волнения – совершенно реального свойства, он весь – в чувственном, в конкретно-живом. Если вы хотите помочь ему, говорите ему его языком. Ему не нужен ваш синтез, конечные выводы ума. Приведите его к роднику, к одному, другому и третьему, туда, где из живого личного опыта рождалось кровное, органическое сознание, как оно с таким трудом рождается у него самого, – покажите ему строгую преемственность этого индивидуального нравственного творчества на всем протяжении развития его родного общества, где каждый силится решить только свою личную жизненную задачу, как вот он решает свою, и где, тем не менее, все таинственно влеклись по одному направлению, к одной далекой цели, – и вы действительно научите его: вы не только заразите его моральным пафосом этих личных исканий, но вы уясните ему и ход общего движения, которому невольно служит он сам в своем самочинном развитии. Каждый русский должен знать историю русской общественной мысли, – но это не внешняя обязанность: надо, чтобы он ощутил потребность в этом. Изобразите историю общественной мысли в ее живой конкретности, а не в схоластических схемах, – тогда, будьте уверены, каждый юноша сам, и с жадностью, припадет к ней устами.

Эта мысль положена в основание предлагаемой книги. Не ряд характеристик представляет она собою, а цельную картину известной эпохи в преемственной смене личных переживаний. Вот почему я назвал ее историей.

Я хотел изобразить в ней русское умственное движение 30-40-х годов, по духу близкое одновременному движению на Западе, и имя «Молодой России», которым я назвал эту эпоху по аналогии с «Молодой Италией» и «Молодой Германией», должно указать на эту связь. Тридцатые годы прошлого века – период бурного умственного обновления во всей Европе. Точно свежий ветер ворвался в душную атмосферу, бодростью повеяло в мире, и смелым, молодым дерзновением исполнились умы. Снова, как столько раз прежде, старое общество разрывает оковы традиции и на миг расправляет члены, пока быстро текущая жизнь не опутает его опять. Обновить жизнь – таков общий лозунг эпохи. В разных странах это движение приняло разные формы: в Италии – религиозно-политическую, в Германии – литературно-эстетическую; у нас

оно носит нравственно-философский характер и приобретает значение, какого оно и отдаленно не имело на Западе.

Дело в том, что у нас оно явилось первой попыткой сознательно и жизненно решить основные вопросы морально-философского порядка. Молодое русское общество жило до тех пор готовым. В глубине его быта как-то сами собою слагались известные системы чувств и идей, видоизменялись самопроизвольно, и так, исподволь обновляясь, переходили от поколения к поколению, как духовная часть отцовского наследия. Внутренне никто не искал, никто не боролся, никто не болел вопросами миропознания. Даже когда в это традиционное мировоззрение вносилось нечто новое, какой-нибудь продукт западной жизни и западной мысли, его также брали готовым и без борьбы; таков был энциклопедизм на русской почве, таковы были еще наши масоны и мартинисты. Кровных нравственных исканий, трагедии духа, мы не встретим в нашем передовом обществе ни разу на всем протяжении XVIII и первой четверти XIX века. Как облако из морских испарений, так из быта рождалось мировоззрение, в общем одинаковое у всех и никем не выстраданное.

Это традиционное и однородное отношение к миру, к обществу и к собственной личности достигает наибольшей своей полноты и вместе самосознания у людей Александровского времени, в том поколении, к которому принадлежали декабристы. Тип декабриста – это, прежде всего, тип человека внутренне совершенно цельного, с ясным, законченным, определенным психическим складом, – человека, которому внутри себя нечего делать и который поэтому весь обращен наружу. Осознанное мировоззрение настойчиво требовало участия в жизни, и, главным образом, разумеется, в общественной, которая так далеко отстала от него: вот почему эти люди *психологически* должны были стать политиками. Им лично, каждому в отдельности, эта психическая насыщенность сообщала удивительный нравственный закал, и потому, когда жизнь поставила на пробу их личное мужество, они во тьме рудников засияли, как драгоценные камни. Может быть, ни в чем так ясно не обнаруживается характер эпохи, как в раннем созревании людей того поколения: Пушкин, Чаадаев – в 16 лет зрелые люди; так всегда бывает в периоды господства законченных мировоззрений, когда юноше остается только усвоить готовые приемы и навыки мышления. Станкевич и его товарищи созревают гораздо медленнее.

Весьма вероятно, что и без того потрясения, которое произвела в русском обществе неудача декабрьского мятежа, старое Александровское мировоззрение продержалось бы недолго, но эта катастрофа должна была, разумеется, ускорить его падение. Она явилась как бы плотиною, запрудившей духовную энергию, которая рвалась наружу – перестраивать жизнь. Искусственно оторванная от всякого дела, мысль обращается теперь на самое себя. Громадную важность имел уже тот факт, что как раз лучшие представители старого психического склада – именно декабристы – были изъяты из общественной жизни: ими и в них он защищал бы свою позицию, они импонировали бы своей цельностью и гармонической красотой. Но старое общество было обезглавлено, и новое поколение выступило в жизнь без сильных руководителей и, значит, с большей свободой в выборе пути. И тут, на пороге, его подхватила волна западного движения, этот могучий ураган обновительных идей, нашедших свое высшее воплощение в философских системах Шеллинга и пр. Старое мировоззрение рухнуло – начался великий ледоход русской мысли. Начался период теоретической работы, глубоко неестественный этой своей односторонностью, но чрезвычайно плодотворный по своим результатам.

Изобразить этот ледоход – задача настоящей книги. Новое содержание общественной мысли рождалось в людях, и в людях оно должно быть изучено, во всей реальности, во всей полноте, во всей жизненной сложности личных, интимных переживаний. Моя задача состояла в том, чтобы в живой работе индивидуального сознания подслушать прозябание нового, того, что рождает век, и так как жизнь духа сложнее наших логических формул, то я старался воспроизвести каждую жизнь или каждый эпизод жизни по возможности вполне, не срезая с корней,

напротив, и с теми комьями земли, которые пристали к корневым нитям. Особенный характер задачи требовал и соответственного материала, то есть такого, который позволил бы глубже заглянуть в интимную жизнь личности; поэтому большинство очерков основано на материале *писем*, большею частью неизданных.

Первый очерк – введение. Он должен познакомить читателя с душевным складом людей Александровского времени – декабристов. Так как истинной сферой проявления этих людей была именно жизнь, а не внутренняя работа духа, то мне хотелось перенести на эти страницы уголок жизни, где бы один из них был центральной фигурой, но где, вместе с тем, обрисовался бы целый узел жизненных отношений, так, чтобы стало видно, как чувствовали, как мыслили, как решались эти люди. Таким узлом является в моем очерке семья Раевских, такой центральной фигурой – Орлов. Для цельности и ясности людей Александровской эпохи, для их чуждости всякому внутреннему исканию, Орлов достаточно типичен; еще характернее его душевное состояние во вторую половину жизни, когда, отрезанный от всякого внешнего дела, он не знает, к чему приложить свои богатые силы, томится и медленно гаснет. А вокруг него – какая полнота типической жизни, какие фигуры, одна ярче и выразительнее другой! С одной стороны, старик Раевский, представитель того же насыщенного мировоззрения, но поколением раньше Орлова, когда оно еще само довлекло себе и не стремилось никуда, ни даже обновить жизнь согласно с собою; с другой – Александр Раевский, тоже цельный, тоже не ищущий, плоть от плоти своего времени, но с лицом, искаженным гримасой, разбитое зеркало своей эпохи; наконец, женщина тех дней, Мария Волконская, вся в данном круге идей и отношений, но в нем – сама решимость, подлинная дочь своего отца.

Второй очерк – картина переходной эпохи. В лице Печерина с удивительной ясностью воплотился тот первый фазис движения, когда внутренняя задача еще не заполнила всего внимания, когда новый мир еще только суммарно – и тем лучезарнее, тем опьянительнее – представлялся уму, так называемый период «абстрактного героизма». Печерин любопытен для нас не только тем, что в его лице эта пламенная мечта о «лучшем мире» достигла своего зенита, но и тем, что в нем она поглотила всего человека и пошла переделывать жизнь. В его сверстниках она оставалась мечтою, да и скоро, как, например, в Белинском, угасла совсем.

Остальные очерки изображают самое движение 30-40-х годов с его различных сторон, каждый раз на том примере, где данная сторона процесса выступала в наиболее жизненной своей форме, как трагедия индивидуального духа.

Это движение – колыбель русского идеализма. Значение Станкевича и его сверстников – не только в том, что ими впервые на русской почве были сознательно и при свете европейской науки поставлены основные вопросы бытия и выработаны первые сознательные критерии истины и добра; сущность движения – в самом характере их душевной жизни. Они первые искали свою правду жизненно, не в спокойной работе умозрения, а в трагическом опыте личных падений и побед, и самое знание, до которого они были так жадны, воспринималось ими нравственно, со всей болью и радостью личных переживаний. В этом их главное отличие от предшествовавших им поколений, и отсюда же их новое отношение к действительности. Стоит лишь сравнить Чацкого, Онегина, Печерина с любым идеалистом 30-х годов, чтобы оценить всю важность перемены: там, где первые только холодно и высокомерно презирали окружающую среду за ее пошлость и умственное ничтожество, там Станкевич и Белинский болеют сердцем или страстно ненавидят.

Другая особенность движения заключалась в объеме выставленного им идеала. Люди 30-х годов мечтали не о частичных усовершенствованиях человека и общества, а о полном преобразовании всей жизни. Они выставили идеал жизни радостной и прекрасной, они первые вывели это солнце на горизонт нашей общественности. С тех пор оно незакатно стоит над русской интеллигенцией; от него заимствовала свой свет и тепло и получила свои краски наша художественная литература.

Этими двумя чертами умственное движение 30-40-х годов предопределило дальнейший ход развития русской мысли. Те люди не жили вовне – они только думали и чувствовали. Оранжевое развитие их мысли не могло не отразиться на их конкретных построениях, и русское общество, впитавшее их идеологию в плоть и кровь, еще и теперь не освободилось от ее крайностей и ошибок. Но вся дальнейшая работа сознания, непрерывно продолжающаяся доньше, представляет собою развитие начал, впервые властно сказавшихся в исканиях «Молодой России».

## Глава первая М. Ф. Орлов

### I

Когда в 1816 году М. Ф. Орлов окончательно вернулся в Россию, ему было всего 28 лет, но он успел уже сделать блестящую карьеру. Сын младшего брата екатерининских Орловых<sup>[2]</sup>, он воспитывался в аристократическом пансионе аббата Николая, юношей вступил в Кавалергардский полк, быстро выдвинулся в Отечественной войне и уже в 1812 году был назначен флигель-адъютантом к государю. Александр полюбил его; ему поручил он в 1814 году заключить капитуляцию Парижа, его же послал затем в Данию для заключения договора о присоединении Норвегии к Швеции, назначил его генерал-майором своей свиты и держал в большой близости к себе<sup>1</sup>. Дорога Орлова вела, казалось, круто вверх. У него было в избытке все, что нужно для успехов в свете: молодость, знатность, богатство, расположение царя, открытый и смелый характер, прекрасная, представительная наружность. Между тем все эти дары фортуны не пошли ему впрок и его дальнейшая жизнь сложилась, в смысле карьеры, вполне неудачно. По приезде в Петербург его звезда очень скоро идет на уклон, – и, надо заметить, это вовсе не было делом случайности, а произошло в силу естественной логики вещей.

Дело в том, что Орлов, подобно большинству будущих декабристов, вернулся из французского похода обуянный самым пламенным патриотизмом и жаждой деятельности на пользу родины. Он принадлежал, по-видимому, к числу самых нетерпеливых. Н. И. Тургенев, сблизившийся с ним за границей, характеризует его так: «Подобно всем людям с живой и пылкой душой, но без устойчивых идей, основанных на прочных знаниях, он увлекался всем, что поражало его воображение». Как раз сближение с Тургеневым в 1815 году в Нанси дало сильный толчок его либеральным стремлениям. У нас есть только очень смутные сведения об адресе к царю, который составил Орлов по своему возвращении в Россию<sup>2</sup>. Это была петиция об уничтожении крепостного права; кроме самого Орлова, ее подписали многие высшие сановники, в том числе Васильчиков, Воронцов и Блудов. Дальнейшая судьба этого адреса неизвестна, но для Орлова он, по-видимому, не имел никаких неприятных последствий: отношение к нему царя осталось дружественным по-прежнему. Более точные данные имеются о другой либеральной попытке Орлова, относящейся к 1817 году. Весною этого года, то есть через несколько месяцев по возвращении в Петербург<sup>3</sup>, он был выбран в члены беспечного и веселого литературного общества «Арзамас». По заведенному обычаю всякий новоизбранный должен был произнести надгробное слово одному из членов, конечно, живому. Вместо этого Орлов выступил с серьезной речью<sup>[3]</sup>, в которой указывал, что недостойно мыслящих людей заниматься пустяками и литературными препирательствами, когда кругом так много нужного дела, и умолял своих сочленов дать деятельности общества иное, более патриотическое направление. Он предлагал с этой целью две меры: во-первых, завести журнал, «коего статьи новостью и смелостью идей пробудили бы внимание читающей России», во-вторых, предоставить каждому из живущих не в столице членов учредить в месте его пребывания филиальное общество под руководством главного, и таким образом покрыть всю Россию сетью отделений<sup>4</sup>. Этот широкий

---

<sup>1</sup> Остаф. архив. Т. I. С. 457—59; Рус. Биограф. Словарь. Т. Об-Оч. 1905. Ст. г. А. Петрова.

<sup>2</sup> Записки С. Г. Волконского. 1 изд. С. 407.

<sup>3</sup> Зиму и весну 1815–1816 гг. Орлов по болезни провел в Париже, лето – на водах в Барее и в Петербург вернулся в ноябре 1816 г.

<sup>4</sup> Н. Тургенев. *La Russie et les Russes*. I. С. 172—73; Вигель. Нов. изд. Ч. V. С. 51–52.

план не встретил достаточного сочувствия среди членов и остался втуне, но мысль о журнале получила ход и не была осуществлена только потому, что правительство отказало в разрешении. До нас дошла программа этого предполагаемого журнала. Первое место в нем должен был занимать политический отдел, который брали на себя Орлов, Н. Тургенев и Д. Северин; целью его ставилось «распространение идей свободы, приличных России в ее теперешнем положении, согласных со степенью ее образования, не разрушающих настоящего, но могущих приготовить лучшее будущее»<sup>5</sup>. Как известно, все первые попытки совместной деятельности у будущих декабристов носили именно такой – просветительно-реформаторский, а не революционный характер.

Потерпев неудачу в «Арзамасе», Орлов решил действовать самостоятельно. Способ действия напрашивался сам собою, в соответствии с духом времени и примером Западной Европы. Позднее, на допросе 1826 года, Орлов показывал, что образцом ему служил Тугендбунд<sup>[4]</sup>: по примеру последнего он задумал образовать тайное общество, «составленное из самых честных людей, для сопротивления лихоимству и другим беспорядкам, кои слишком часто обличаются во внутреннем управлении России»<sup>6</sup>. Следуя увлечению, овладевшему тогда передовым слоем русского общества, он хотел придать предполагаемому кружку полумасонский характер и с этой целью привлек к своему замыслу графа Дмитриева-Мамонова, сильно интересовавшегося русским масонством. К ним примкнуло еще несколько лиц, в том числе Н. И. Тургенев; союз должен был называться Обществом Русских рыцарей, и Орлов собирался представить его устав на утверждение царя. Известно, что завязавшиеся было переговоры между Орловым и Александром Муравьевым о слиянии этого общества с возникшим незадолго Союзом Спасения не привели ни к чему, да самое Общество Русских рыцарей в конце концов не состоялось<sup>7[5]</sup>.

Все эти патриотические затеи Орлова, следовавшие одна за другой на кратком пространстве меньше чем в год (с конца 1816 по конец 1817 г.), свидетельствовали о таком кипучем усердии к общему благу, которое, при личной близости Орлова к императору, недолго могло оставаться безнаказанным. И действительно, скоро Орлов нарвался на крупную неприятность.

Подобно большинству позднейших декабристов, он соединял с просвещенным либерализмом горячее чувство национального достоинства, доходившее подчас до того, что Н. И. Тургенев, европеец до мозга костей, метко назвал патриотизмом рабов. Это чувство, заставлявшее Орлова сердиться на Карамзина<sup>[6]</sup> за то, что он в начале своей «Истории» не поместил какой-нибудь гипотезы о происхождении славян, «лестной родословному чванству народа русского»<sup>8</sup>, было в 1817 году тяжело оскорблено дарованием конституции Польше и слухами о намерении Александра отделить от России Литву. Этот самый слух едва не довел Якушкина до цареубийства, а Орлов составил записку к государю, направленную против эмансипации Польши, и начал собирать подписи в кругу генералов и сановников. Император, узнав заблаговременно об этом предприятии, призвал Орлова и потребовал составленную им записку; Орлов, конечно, не желая выдавать тех, кто подписался под нею, отказался представить ее, заявив, по-видимому, что она у него пропала<sup>9</sup>. Это было последнее свидание царя с его бывшим любимцем. Вскоре затем Орлов был удален в Киев на должность начальника штаба при 4-м корпусе<sup>[7]</sup>, которым командовал тогда Н. Н. Раевский. В Киеве он прожил с лишним

<sup>5</sup> Бумаги Жуковского, – см. Отчет Императ. Публ. Библиотеки за 1887 г. Приложение. С. 82.

<sup>6</sup> «Записка о тайном обществе», представленная Орловым следственной комиссии 1826 г. Довнар-Запольский. Мемуары декабристов. 1906. С. 3 и 25.

<sup>7</sup> Русская Старина. 1904, март. С. 491; апрель. С. 26. Тургенев, I. С. 222–224. Доклад следств. ком. по делу 14 дек.

<sup>8</sup> Остаф. архив. I. С. 347 и 653.

<sup>9</sup> Русская Старина. 1904, март. С. 491–92; Тургенев, I. С. 86; Якушкин. С. 45. «Записка» Орлова, у Довнар-Запольского. Цит. соч. С. 3.

два года, и следующий его служебный этап – назначение в Кишинев начальником дивизии в 1820 году – был новой почетной ссылкой, наполовину, впрочем, добровольной.

## II

Его письма за киевский период представляют драгоценный материал для характеристики настроения и образа мыслей его сверстников об эту пору. Что представлял собою будущий декабрист около 1819 года, то есть в разгар деятельности Союза Благоденствия, об этом приходится судить вообще только по показаниям декабристов на следствии 1826 г., да по их воспоминаниям, записанным еще десятки лет позднее. И тот, и другой род свидетельств, конечно, не дают верной картины; в них надо учитывать забывчивость, сознательный и иногда тенденциозный подбор черт, наконец, неверное освещение в зависимости от иной, новой точки зрения на вещи. Здесь же пред нами современные и заведомо-непосредственные показания, субъективность которых только повышает их цену. «Живу спокойно, – пишет Орлов из Киева сестре (по мужу Безобразовой)<sup>10</sup>, – а чтобы быть счастливым, ты знаешь, мне уже давно не нужно ничего другого, как не быть несчастным. Эта философия отнюдь не должна удивлять тебя во мне. Я вижу славу вдали, и, может быть, когда-нибудь я добуду немного ее. Жить с пользой для своего отечества и умереть оплакиваемый друзьями – вот что достойно истинного гражданина, и если мне суждена такая доля, я горячо благодарю за нее Провидение». – Тут все типично: и этот стоицизм при едва сдерживаемом избытке сил, и готовность принести себя в жертву общему благу, и мечты о славе, явно навеянные республиканскими героями Плуларха, и, может быть, более всего – потребность излияния всех этих чувств в человеке, уже давно вышедшем из юности (Орлову было в это время лет 30), в генерал-майоре и начальнике штаба. Еще характернее следующее его письмо к самому Безобразову, мужу сестры, от 26 марта 1819 г. Речь идет о борьбе, которую приходится вести Безобразову на его служебном посту в Тамбове. «Верю, – пишет ему Орлов по-русски, – верю, сколь трудно тебе бороться с устроенным неустройством нашего внутреннего правления, и что система злодеев, соединенных тесно для избежания несчастья, сильнее, нежели порывы одного от всех оставленного гражданина... рано или поздно честность, ум и добродетель должны взять верх, и сие время, может быть, не так отдаленно, может быть, на закате наших дней увидим мы, любезный друг, сие дивное преобразование отечества нашего и ступим в гроб утешенной ногой (sic). Я о сем только и думаю и посреди разлития всех пороков вижу с упованием добродетельную молодежь, возрастающую с новыми правилами и без старых предрассудков».

«Я ленив немножко писать, – продолжает он, – да и к тому же редко пишу и по осторожности. Чем более близки ко мне и к сердцу моему те, с коими беседую, тем более льются мои мысли, и тем откровеннее я пишу. Сие стремление откровенности пред нынешним осторожным веком не есть добродетель. Она часто губит, да и сам я уже несколько раз страдал от себя. Мне друзья говорят: «Неужели ничто тебя не исправит?» Я им отвечаю: «Да где ж порок? докажите, что дурно, – я исправлюсь». Я думаю, что я прав. Может быть, я останусь долго, может быть, и всегда в моем ничтожестве, но, по крайней мере, ежели какой-нибудь благоприятный ветер поведет меня выше, то принесу в дар отечеству беспорочную жизнь и характер, чуждый всем подлостям нынешнего века». В конце письма он обращается к сестре. «Благодарю тебя, любезная сестра, за присланную попону. Я ею покрою любимого коня, а ежели бы открылось какое-нибудь средство стать грудью за Россию, то в минуты отдохновения под чистым сводом небес сам лягу на нее и буду вспоминать о любезной сестре. Пиши ко мне и поцелуй всех детей. Дай Бог вам счастья и покоя, а мне жизни бурливой за родную страну».

---

<sup>10</sup> Это, как и все дальнейшие письма, цитируемые в настоящей статье без указания источника, печатаются здесь впервые, с рукописных подлинников, и – где не оговорено противное – в переводе с франц. языка.

Воинственные нотки, звучащие в этих письмах, вовсе не были простой данью романтизму. Мы увидим сейчас, что все эти приготовления «стать грудью за Россию», это ожидание «благоприятного ветра» имели для самого Орлова совершенно реальный смысл: он вполне сознательно ставил свое будущее в зависимость от неминуемого и близкого общего переворота. За два года он успел далеко передвинуться влево; теперь его занимал уже не вопрос об искоренении, с одобрения верховной власти, лихоимства и прочих зол, а вопрос о коренном зле русской жизни – о бесконтрольности и произволе этой самой власти, и по свойственной ему пылкости он считал эту задачу разрешимой сейчас же, без всякой подготовки. В том же 1819 году Денис Давыдов, тогда начальник штаба по соседству, в Кременчуге, писал другому приятелю Орлова, знаменитому впоследствии П. Д. Киселеву: «Мне жалок Орлов с его заблуждением, вредным ему и бесполезным обществу; я ему говорил и говорю, что он болтовнею своею воздвигает только преграды в службе своей, которою он мог бы быть истинно полезным отечеству. Как он ни дюж, а ни ему, ни бешеному Мамонову не стряхнуть абсолютизма в России». Еще рельефнее письмо Киселева к самому Орлову того же времени: «Все твои суждения, в теории прекраснейшие, на практике неисполнимы. Многие говорили и говорят в твоём смысле; но какая произошла от того кому польза? Во Франции распри заключились тиранством Наполеона... Везде идеологи – вводители нового в цели своей не успели, а лишь дали предлог к большему и новому самовластию правительств... Ты знаешь и уверен сколько много я тебя уважаю; но мысли твои неправильны и, конечно, с сердцем твоим не сходны. Неудовольствия, грусть, сношения с красноречивыми бунтовщиками и, сознаюсь, несправедливое бездействие, в котором ты оставлен, – вот тому причины. Скинь с себя тебе неприличное. Не словами, но делом будь полезен; оставь шайку крикунов и устрями отличные качества свои на пользу настоящую. Преобразователем всего не каждому быть можно; но я повторяю: каждому определено, каждому предназначено увеличивать блаженство общества, а ты, Орлов, от доброго отшельцем быть не должен. В суждениях моих могу ошибаться, но цель моя благонамеренная, и потому одинакая с твоею. Разница в том, что ты даешь волю воображению твоему, а я ускромняю свое; ты ищешь средств к улучшению участи всех – и не успеешь, я же – нескольких только, – и успеть могу. Ты полагаешь, что исторгнуть должно корень зла, а я – хоть срезать дурные ветви. Ты определяешь себя к великому, а я – к положительному»<sup>11</sup>.

Тут было, конечно, очень много честолюбия, понятного при таком избытке сил; но оно безусловно подчинялось идее, то есть направлялось исключительно на цели общего блага, с презрением отвергая обычную мишуру чинов и почестей. Когда весною 1819 г. открылась вакансия начальника штаба гвардии, и друзья Орлова в Петербурге захотели выставить его кандидатуру на эту видную должность, он решительно отверг их предложение. «Что мне делать в Петербурге? – писал он по этому поводу А. Раевскому. – Как я возьму на себя должность, которую оставить можно только вследствие опалы, занимать – только по милости? Вы меня знаете: похож ли я на царедворца и достаточно ли гибка моя спина для раболепных поклонов? Едва я займу это место, у меня будет столько же врагов, сколько начальников. Нет, милый друг, я охотно уступаю моим соискателям все почести, спасая свою честь. Да и то сказать: есть ли тут повышение? Ведь и место начальника штаба я взял не так, как делаются столяром или каретником. Это не ремесло, и мне вовсе не хочется на всю жизнь замкнуться в узкий круг забот об изготовлении планов, задуманных другими или мною для других, смотря по характеру моих начальников. Конечно, лучше быть начальником главного штаба, чем начальником бригады, но еще лучше командовать дивизией. Поэтому я оставлю свое нынешнее место разве только для того, чтобы принять командование, а не для того, чтобы повиноваться другому, потому что из всех известных мне начальником я предпочитаю того, кому сейчас подчинен. Но оставим

<sup>11</sup> Русская Старина. 1887, июль. С. 228 и сл.

этот разговор о предмете, который меня вовсе не занимает. Желая всякого благополучия старому и новому начальникам штаба гвардии, но предпочитаю мое ничтожество их величию...

«Я дал несколько лицам то же поручение, что вам, именно – узнать, начинают ли забывать меня. Вы один меня поняли и отвечали мне в смысле моего вопроса. Что вы пишете о моем положении при дворе, это я знал заранее и нисколько этому не удивляюсь. У меня хватает самолюбия верить, что я останусь ненужным до тех пор, пока направление внутренней политики не заставит призвать к делам людей благомыслящих и умеющих видеть дальше своего носа. Верьте мне: все, кто сейчас действуют, истощаются в бесплодных усилиях. Еще не настало время, когда старания будут вознаграждаться обильными последствиями. Пусть иные возвышаются путем интриг: в конце концов они падут при всеобщем крушении, и потому они уже не поднимутся, потому что тогда будут нужны чистые люди. Я понимаю, что мои слова несколько загадочны, но их смысл мне вполне ясен, и, может быть, когда-нибудь и вы признаете правильной мою точку зрения и всю мою систему. Может быть также, я не увижу даже зари того прекрасного дня, о котором мечтаю, но от того моя система не станет менее верной для тех, кто переживет меня.

«Так думают только немногие – и в этом-то наше несчастье. Найдись у нас десять человек истинно благомыслящих и вместе даровитых, все приняло бы другой вид. Что до меня, то я чувствую довольно силы в самом себе, чтобы служить не для карьеры, а из гражданского долга. Ведь чего я в сущности хочу? несколько более широкой сферы деятельности, потому что я чувствую в себе больше способностей, чем могу применить в моей обстановке. Что ж! я буду ждать, буду ждать, если нужно, и десять лет. Это будет мне только впрок, так как энтузиазма, основанного на любви к принципам, я не утрачу, и приобрету рассудительность, являющуюся всегда плодом опыта. Итак, больше не говорите со мною тем языком, каким написано ваше последнее письмо. Улыбка фортуны не значит для меня ничего, событие – все». В заключение – у него просьба к Раевскому: «Вы так хорошо вывели, что я значу при дворе; теперь узнайте, как относится ко мне общественное мнение. Лыщу себя мыслью, что на этот раз ваши сведения окажутся более утешительными. Или, может быть, я ошибаюсь?».

### III

Однако в ожидании «события» не приходилось сидеть сложа руки, и Орлов с первых же дней своего пребывания в Киеве деятельно принимается за общественную работу. Будучи по роду своей должности отрезан от непосредственного общения с солдатами, он не мог применить свои гуманные убеждения в пределах самой службы, как позднее в Кишиневе, и его усилия естественно направились, главным образом, на дело просвещения.

Уже в марте 1818 года он обращается к комитету «Общества начального образования в Париже» (*Société d'instruction élémentaire*) с любопытным письмом, текст которого дошел до нас<sup>12</sup>; оказывается, что 22 февраля 1816 г. он был выбран членом этого общества, цель которого заключалась в устройстве школ по способу взаимного обучения. Он пишет, что будучи назначен начальником штаба в Киеве, он застал здесь ланкастерскую школу на 40 кантонистов, учрежденную ген. Раевским. Теперь, приняв это дело в свои руки, он довел контингент учащихся до 600 человек. Обращаясь к комитету французского общества, он просит считать его и впредь членом последнего и не отказать ему в поддержке; он хотел бы завязать правильные сношения с комитетом, и на первый раз просит выслать ему все отчеты общества и лучшие сочинения о методе Ланкастера.

Орлов оказался пионером этого дела в России. Ланкастерская метода только тогда начала прививаться у нас, – самое «общество учреждения училищ по способу взаимного обу-

---

<sup>12</sup> Отчет Императорской Публ. Библиотеки за 1896 г. С. 192—95.

чения» было основано только в 1819 г., и киевская школа, созданная усилиями и личными затратами Орлова, послужила образцом для всех военно-сиротских училищ. В 1819 г. число учеников дошло в ней до 800 чел., и учебная программа, в отличие от других аналогичных школ, не ограничивалась уже чтением, письмом и счетом, а обнимала и грамматику, катехизис и священную историю. На посещающих ее школа производила самое выгодное впечатление. Анонимный корреспондент «Русского Инвалида» писал в № 85 за 1819 г., что стараниями генералов Раевского и Орлова это заведение приведено в такую степень совершенства, «что видеть его и не восхищаться оным были бы две совершенно несовместные идеи». Еще восторженнее отзывается о школе Орлова известный И.Р. Мартос, посетивший ее в 1820 г. Он нашел в ней уже 1800 учащихся, распределенных на 8 классов; по его свидетельству, сюда присылались для обучения кантонисты из многих других мест, и обученными здесь учителями уже были открыты такие же школы в Москве, Могилеве и Херсоне, так что эта школа, говорит Мартос, является, так сказать, «маткою взаимного обучения в России»<sup>13</sup>.

Сохранился «рапорт» Орлова Закревскому от 10 октября 1817 года, не оставляющий ничего желать в смысле картинности изображения киевской школы. Привожу его целиком.

«Честь имею донести вашему превосходительству о опыте, сделанном для образования воспитанников по ланкастеровой методе.

Взято было *сорок* воспитанников, не умевших ни читать, ни писать. Они разделены были на пять отделений, каждое из 8-ми человек, и размещены за пятью столами под надзором одного старшего, более знающего ученика, имеющего по сему случаю звание смотрителя.

Сии столики сделаны были в виде не весьма покатыстых пульпетов с возвышенными краями. Во внутренности насыпан песок, по которому ученики пишут пальцем литеры до тех пор, пока совершенно выучатся. У правого бока каждого столика поставлена линейка с гвоздем наверху. Впереди в малом расстоянии от первого стола поставлена черная доска с гвоздем наверху.

Смотритель классов имеет при себе литеры в большом виде, написанные просто на бумаге. Помощники его, стоящие каждый у линейки, числом пять, имеют каждый такие же литеры.

Глубочайшая тишина наблюдаема в классе. Смотритель по известному знаку вывешивает литеру. Помощники повторяют и также вывешивают каждый ту же букву у своей линейки, все воспитанники пишут оную на песке, после чего каждый помощник идет перед своим столом и поправляет написанную литеру. Тут делается по знаку помощника на каждом столе перемещение с места на место, то есть те, которые лучше писали, берут и высшее место.

Чтение букв таким же образом преподается, равномерно учение двойным и тройным складам. Сей класс называется первым или низшим классом.

Успех совершенно оправдал принятые труды для сего опыта. По прошествии четырех недель из числа 40 воспитанников 24 выучили весьма твердо читать всю азбуку не только тогда, когда покажут им какую-нибудь литеру, но знают ее на память и могут довольно хорошо написать пальцем и палочкою на песке всякую литеру без вывески оной. Они также научились складывать и выговаривать почти все односложные склады. Остальные 16 человек переходя с одного нумера на другой, остались на двух последних столах. Половина их знает довольно твердо азбуку читать и читать по вывешенным литерам, а другая еще знает слабо.

---

<sup>13</sup> Киевская Старина. 1897, июль – авг. С. 65 и сл. Записка Мартоса о школе Орлова любопытна и как показатель тех великих надежд, какие возлагало тогда наше общество на ланкастерскую систему в смысле быстрого просвещения масс. Он пишет: «Смотря на сей превосходнейший способ, в наш век юношеству доставленный, переходить скорыми шагами из тьмы во свет, открывающий великолепные виды к дальнейшему просвещению, нельзя не сказать: вот наступили последние времена невежества, которое стремглав падет в бездну, как Люцифер, со всеми темными легионами своими; а божественный Свет ума, коего все желают с несытостью, взйдет на верх круга народных смыслов и будет озарять всех и вся так удобно и легко, как озаряет вселенную свет солнца».

Второй класс или высший учрежден из 16 воспитанников, умеющих уже разбирать слова, но не знавших еще писать. К ним определено два частных и один главный смотритель из воспитанников же.

В сем классе на место пульпетов восьмерных, как в первом, следует построить для каждого ученика особенный пульпет со скамейкой. Расстоянием между каждым пульпетом определяется место, достаточное, дабы воспитанник, который за пульпетом сидит, мог бы по знаку идти вперед к черной доске, где вывешена пропись.

Смотритель класса дает сигнал и называет номер отделения. Помощник его по означенному отделению повторяет сигнал, все ученики того отделения встают с места, имея на шее повешенные аспидные дощечки, и идут в ногу до доски, становятся в полукружие и читают повешенную пропись, таким образом, что учитель называет только номера учеников того отделения, а сии подхватывают сказанное их товарищем слово или склад, дабы повсечасно примечательность учеников была бы напряжена на предлагаемый им предмет к чтению. Окончив таким образом чтение, отделение в таком же порядке возвращается на свои места и ученики севши приготавливаются списывать на аспидных досках ту же самую пропись, которая повешена была на доске и которую помощник смотрителя вывешивает на линейке во вверенном ему отделении. Другие отделения класса таким же образом подходят к доске и возвращаются на свои места.

Опыт доказал, что оные 16 учеников, еще не умеющих совсем писать и едва ли могущих разбирать склады, в течение четырех недель выучились хорошо и правильно складывать, читать и писать задаваемые прописи и даже изрядно читают книги гражданской печати, чему они вовсе не обучались.

Столь сильно влияние порядка и примечательности над умом молодых детей, еще не испорченных нескладным и вздорным учением».

В связи с ланкастерской методой стоит и деятельность Орлова в киевском отделении Библейского общества. В августе 1819 года, будучи выбран вице-президентом отделения, он произнес в торжественном собрании общества обширную, тщательно составленную речь<sup>[8]</sup>, которая по содержанию сделала бы честь и любому общественному деятелю нашего времени. Поблагодарив за избрание и с горячим сочувствием очертив просветительные заслуги Библейского общества, он выступил с предложением, которое открывало обществу совершенно новое поле деятельности: он предлагал устроить в Киеве бесплатную приходскую школу всеобщего обучения для сирот и детей бедных родителей, числом до 300 человек и содействовать возникновению таких же школ в других городах. Вся речь дышала искренним энтузиазмом к делу просвещения масс и смелым либерализмом. Говоря о противниках, которых, вероятно, встретит его предложение, Орлов мастерски изобразил нравственный облик обскуранта. Эти люди, говорил он, везде и всегда одинаковы. Любители не добродетелей, а только обычаев отцов наших, хулители всего нового, враги света и стражи тьмы, они – настоящие исчадия средневекового варварства. Во Франции они гонят свободомыслие и противятся введению представительного строя; в Германии они защищают остатки феодальных прав; в Испании они раздувают костры инквизиции; в Италии восстают против распространения св. писания; наконец, наша история полна их усилий против возрождения России. Они были личными врагами нашего великого преобразователя и бунтовали против него московских стрельцов; при Елизавете они порицали уничтожение смертной казни, при Екатерине хулили ее Наказ, и еще теперь, когда лучи просвещения начинают озарять наше отечество, они употребляют все старания, чтобы вернуть его к прежнему невежеству и оградить от вторжения наук и искусств. Эти политические староверы убеждены, что они – избранники, которым все остальные люди обречены в рабство самим Промыслом, и в этой уверенности они присваивают себе все дары небесные и земные, всякое превосходство, а народу предоставляют одни труды и терпение; отсюда родились все тирани-

ческие системы правления, начало которых следует искать не столько в честолюбии самих властелинов, сколько в изобретательности лстящих им и друзей невежества<sup>14</sup>.

Для того времени речь Орлова была незаурядным явлением, и она имела большой успех. Якушкин и И. И. Дмитриев рассказывают, что она распространилась во множестве списков. Вяземский был в восторге: «Ну, батюшка, оратор! – писал он А. И. Тургеневу. – Он и тебя за пояс заткнул: не прогневайся! Вот и пусти козла в огород! Да здравствует Арзамас! Я в восхищении от этой речи... Орлов недюжинного покроя. Наше правительство не выбирать, а удалять умеет с мастерскою прозорливостью». Тургеневу речь показалась уж слишком смелой; отдавая должное пылкому патриотизму Орлова, он решительно осуждал его легкомысленный радикализм. «Лучшее в М. Орлове есть страсть его к благу отечества. Она берегает в нем душу его, благородную и возвышенную. Но недостаток в учебном образовании везде заметен: вот школа аббата Николая! Ум и сердце в нем свои, а ученье, то есть недостатки в оном, принадлежат образу воспитания... Я отдаю справедливость его чувству, которое изливается из прекрасной души. Везде ищет он пользы отечества, везде мечтает о возможном благе его. Я бы держал его близ государя, но держал бы на привязи, ибо в нем нет ничего обдуманного, а опыт доказал уже нам, какой успех от незрелых планов, от желания обратить в действие все, что сверкнет в голове, не озаренной светильником государственных познаний и наблюдений... Нет, пусть служит Орлов некоторое время внутри России, пусть узнает ее лучше нас – и тогда, если сохранит жар к добру, пусть придет сюда согреть оледенелые члены членов Государственного Совета et consp.». Однако Вяземский упорно продолжал защищать речь Орлова, – и даже в литературном отношении, заявляя, что от пера, очиненного шпагою, большего требовать нельзя<sup>15</sup>.

Если уже и до того Орлов представлял собою очень заметную величину в кругу либерально-настроенной молодежи, то эта речь, ходившая по рукам и в Москве, и в Петербурге, должна была еще увеличить его популярность. Около этого же времени немало толков вызвали два его письма к Д. Бутурлину<sup>16</sup> по поводу выхода в свет книги последнего о русских военных походах в XVIII столетии. Эти письма замечательны горячим протестом против крепостного права<sup>16</sup>. Так, осуждая общий дух славословия, проникающий все «Вступление» Бутурлина, он говорит: «Друг мой! Нет никого на свете, кто бы более меня привязан был чувством к славе Отечества! Но не время теперь самим себя превозносить. Ты видишь все с высокой точки умозрения – с поля сражения. Войди в хижину бедного Россиянина, истощенного от рабства и несчастья, и извлеки оттуда, если можешь, предвозвешение будущего нашего величия!» Та же мысль повторяется и во втором письме: «Россия подобна исполину ужасной силы и величины, изнемогающему от тяжелой внутренней болезни». Любопытны следующие строки, характеризующие политические взгляды Орлова: «Все твоё рассуждение (о датчанах) основано на ложном правиле. Датчане, вручив самовластие одному человеку, не исполнили сего, чтобы спасти независимость их от внешних врагов; но единственно, чтобы избавиться от самовластия многих. Они вольным переходом передалась из рук нескольких олигархов в руки одного деспота. Я тут ничего великого не вижу, кроме великого непонятия о достоинстве народа вообще и о достоинстве человека в частном отношении. Хотя, говоря о сем предмете, ты старался зацепить все нежнейшие струны моего сердца, но правила моей жизни, которые заключаются в истинной и непреклонной ненависти к тиранству, не позволили мне вдатся в расставленные тобою сети. Я остался непоколебимым в своем мнении, и если б был датчанином, то проклинал бы то мгновение, в которое предки мои подвергли меня игу деспотизма, так точно, как

---

<sup>14</sup> Речь Орлова напечатана в Сборнике Имп. Русск. Ист. Общества. Т. 78. 1891 г. С. 519–528.

<sup>15</sup> Остаф. архив. I. С. 299, 306, 297, 346.

<sup>16</sup> Письма Орлова к Бутурлину не напечатаны; за сообщение их приношу благодарность П. Е. Щеголеву.

Россиянин должен проклинать этот несчастный закон, который осудил на рабство большую часть наших сограждан».

Все эти речи и письма, и самая деятельность Орлова в Киеве доставили ему почетную известность. Мы увидим дальше, какое видное место он сразу занял в Союзе Благоденствия. Но уже в начале 1819 г., когда в «Вестнике Европы» появилась без подписи первая статья Каченовского, направленная против «Истории» Карамзина («Письма от Киевского жителя к другу»), ее не задумались в Москве приписать Орлову<sup>17</sup>. Якушкин, познакомившийся с ним только в 1820 г., уже раньше много слышал о нем от своих друзей, как о человеке «высшего разряда», а Волконский называет его «светилом среди молодежи». В самом Киеве он быстро сосредоточил вокруг себя все, что было наиболее образованного и передового как в русском, так и в польском местном обществе. В его доме стал собираться замечательный кружок людей, которых объединяли увлечение европейской образованностью и свободными формами политического быта и страстные мечты об обновлении России. В эту атмосферу весной 1819 г. попал Волконский, приехавший на контракты в Киев и остановившийся по старой приязни у Орлова. Несколько недель, проведенных им здесь, по его словам, определили его дальнейшую участь: ежедневные общения с Орловым и его кружком, говорит он, «оказали сильное влияние на меня, развили во мне чувства гражданина, и я вступил в новую колею убеждений и действий. С этого времени началась для меня новая жизнь». Действуя в Киеве, Орлов вместе с тем, конечно не порывал связей и со столичными друзьями, вел переписку с Вяземским, Раевским, обоими Тургеневыми и др., и Н. И. Тургенев в середине 1819 года посылал ему на просмотр проспект задуманного им политического журнала<sup>18</sup>.

И все-таки он чувствовал себя неудовлетворенным, томился и рвался вон из этой обстановки; душа жаждала подвигов, – не этой медленной работы на общее благо, а именно «бурной жизни за родную страну». Надуманный стоицизм тут мало помогал. «Золотые дни моей молодости уходят, – пишет он А. Раевскому в том же 1819 году, – и я с сожалением вижу, как пыл моей души часто истощается в напрасных усилиях. Однако не заключайте отсюда, что мужество покидает меня. *Одно событие* – и все изменится вокруг меня. Дунет ветер, и ладья вновь поплывет. Кому из нас ведомо, что может случиться? на все готовый, я понесу в уединение или на арену деятельности чистый характер, – преимущество, которым немногие могут гордиться в нынешний век».

## IV

Командиром 4-го корпуса, то есть ближайшим начальником Орлова в Киеве, был, как уже сказано, старик Раевский. Орлов был свой человек в его семье, и эта близость привела скоро к женитьбе молодого генерала на старшей дочери Раевского, Екатерине Николаевне. Со старшим сыном Раевского, Александром, служившим эти годы в Петербурге, Орлов был дружен еще по боевому товариществу и совместной жизни во Франции: мы видели выше, что между ними шла переписка уже в 1819 году. С другой стороны, Пушкина Орлов знал еще по Петербургу, а с младшим из Раевских, Николаем, Пушкин был уже до своей ссылки на юг в самых дружеских отношениях. – Так завязался узел, в котором жизнь Пушкина на некоторое время сплелась с жизнью Раевских и Орлова.

Когда будет написана биография Пушкина, Раевским и Орлову будет отведено в ней видное место. В течение четырех лет (1821—24) влияние разных членов этой семьи было доминирующим в его жизни. Сначала четырехмесячное путешествие со всеми Раевскими на Кавказ и в Крым, затем двухлетняя близость с Орловым в Кишиневе, наконец, тесная дружба с

---

<sup>17</sup> Остаф. архив. I. С. 192.

<sup>18</sup> Остаф. архив. I. С. 260.

Александром Раевским в Одессе, и на придачу долгая влюбленность в одну из барышень Раевских<sup>[10]</sup>, должны были ярко отразиться на развитии Пушкина, – и это как раз в те годы, когда окончательно складывались его характер и мировоззрение. Наибольшую важность представляет здесь, конечно, ряд личных влияний, а это были, каждая в своем роде, все богатые и самобытные индивидуальности; но важны и те общие идейные течения, с которыми он столкнулся в этом кругу. Только пять лет назад кончилась Отечественная война, где старик Раевский был одним из главных деятелей, где Орлов связал свое имя с капитуляцией Парижа, где и Александр Раевский получил свое боевое крещение; в них наверное еще не совсем остыло патриотическое и военное одушевление тех дней, и их рассказы были для Пушкина живою летописью той эпохи. Вместе с тем чрез них же в Кишиневе и Каменке он соприкоснулся непосредственно с тем общественным движением, которое привело затем к 14 декабря. Таким образом чрез эту семью шли оба главных влияния, которые определили политическую мысль Пушкина: монархический патриотизм 12-го года и революционная идеология декабристов. Если прибавить к этому, что и с Байроном Пушкин познакомился благодаря Раевским, то их важная роль в истории его жизни и творчества будет очевидна.<sup>[11]</sup>

Центральной фигурой этого пушкинского кружка был, конечно, сам Раевский, человек выдающийся не только по военному таланту, но и по высоким душевным качествам, прекрасный цельностью и прямою натурой и полным отсутствием аффектации, очаровавший двух наших поэтов – Батюшкова в 1814 г. и Пушкина в 1820<sup>[12]</sup>. Последний с восторгом отзывался о его ясном уме, свободном от предрассудков, сильном характере, простой и прекрасной душе, готовой на участие и дружбу. Мы увидим дальше, как много нежности таил в себе под суровой оболочкой этот знаменитый русский генерал, так похожий на античного полководца<sup>19</sup>.

В середине мая 1820 г. Раевский с младшим сыном Николаем и двумя дочерьми-подростками, в том числе Марией, будущей декабристкой Волконской, пустился в путь из Киева на Кавказские воды, куда уже до них прибыл, чтобы лечить старую рану в ноге, его старший сын Александр. Как известно, этой скромной лечебной поездке суждено было стать исторической: в Екатеринославе, по пути из Киева на Кавказ, Николай Раевский младший (то есть сын) разыскал своего петербургского приятеля Пушкина, только что приехавшего в ссылку и лежавшего здесь в жестокой лихорадке, и с согласия Инзова Раевские увезли с собою молодого поэта на Кавказ и потом в Крым. Эта встреча в Екатеринославе едва ли была случайной. Раевские, без сомнения, знали, что в Екатеринославе найдут Пушкина: 7 мая одна из дочерей, Екатерина Николаевна, посылая из Петербурга письмо брату Александру в Киев, объясняет в P.S., почему оно идет почтою: «мама забыла послать его с Пушкиным», а из письма старика видно, что в Екатеринослав они приехали в 10 ч. веч. и уехали из него на другой день после завтрака; между тем молодой Раевский еще в тот же вечер успел разыскать Пушкина и к полудню уладил его поездку.

Четыре месяца, проведенные Пушкиным на Кавказе и в Крыму среди Раевских, принадлежат к счастливейшим дням его жизни. В сентябре, рассказывая в письме к брату об этой поездке он писал: «Суди, был ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства, – жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался; счастливое полуденное небо; прелестный край, природа, удовлетворяющая воображение, горы, сады, море: друг мой, любимая моя надежда увидеть опять полуденный берег и семейство Раевского».

В эти месяцы, когда Пушкин (как он вспоминал уже много позднее) подолгу сживал на берегах Подкумка с Александром Раевским, – у последнего шла деятельная переписка с Орловым, оставшимся в Киеве.

<sup>19</sup> Сколько-нибудь сносной биографии Раевского нет; библиографию см. в Русском Вестнике. 1898, март.

30 мая 1820 г. Орлов пишет<sup>20</sup>: «Я обещал писать и посылать газеты. И то, и другое исполняю, в надежде, что твои обещания также исполнятся, любезный Александр Николаевич. Ожидать буду твоего ответа с нетерпением, помня, что он мне даст подробное понятие о положении того края, в котором ты основал свою жизнь на некоторое время». «Новостей политических мало, – пишет он далее. – Говорят, что в Риме открыт заговор и что по сему случаю 35 тыс. австрийцев выступили к сему городу... Везде огонь живет под пеплом, и я очень думаю, что XIX век не пробежит до четверти без развития каких-нибудь странных происшествий». На днях приятельские рассказы пояснили ему многое, но эти известия он не может доверить бумаге. «Когда увидишь Алексея Петровича (Ермолова) бей ему от меня челом. Поклон и простого римского гражданина не должен быть отвергнут римским проконсулом, какова бы ни была его слава». В конце письма характерная просьба – отвечать по-русски. О том же просит потом однажды Пушкин из Кишинева брата.

19 июня Орлов пишет: «Посылаю тебе несколько газет, в которых найдешь все то же, что и прежде, то есть бесконечные споры между гасителями, коих не должно пускать тушить, и светилами, коим не должно позволять жечь».

«Я, наконец, назначен дивизионным командиром. Прощаюсь с мирным Киевом, с сим городом, который я почитал сперва за политическую ссылку и с коим не без труда расстаюсь. Милости твоего батюшки всегда мне будут предстоять, и я едва умею выразить, сколь мне прискорбно переходить под другое начальство. Но должно было решиться. Иду на новое поприще, где сам буду настоящим начальником».

Последнее сохранившееся письмо, от 13 октября, любопытно, как свидетельство полной зрелости мысли в области конкретных политических вопросов.

«Любезный друг, благодарю за твое занимательное письмо из Крыма, которым я тем более был доволен, что оно писано по-русски и довольно чистым русским языком. Известия о Грузии и о подвигах или намерениях Ермолова весьма важны, но мне кажется, что со всем его умом он довершить общего успокоения той страны не в состоянии. Так же трудно поработить чеченцев и другие народы того края, как сгладить Кавказ. Это дело исполняется не штыками, но временем и просвещением, которого и у нас не избыточно. При падении листов сделают еще экспедицию, повалят несколько народа, разобьют толпу неустроенных врагов, заложат какую-нибудь крепостцу и возвратятся восвояси, чтобы опять ожидать осени. Этот ход дела может принести Ермолову большие личные выгоды, а России никаких. Впрочем, я не его виню. Обстоятельства и прежние меры начальников и предместников его сделали из Грузии в отношении нашего отечества, так сказать, политическую фистулу. Через оную Россия потеряла много крови и соков. Но со всем тем в этой непрерывной войне есть что-то величественное, и храм Януса для России, как для древнего Рима, не затворяется. Кто, кроме нас может похвастаться, что видел вечную войну?»

## V

Когда Пушкин в сентябре, расставшись с семьей Раевских, приехал в Кишинев, куда его начальник Инзов тем временем перевел свою канцелярию из Екатеринослава, он уже застал здесь Орлова, который, наконец, после пятикратного отказа, получил дивизию, именно 16-ю пехотную дивизию второй армии, стоявшую в Кишиневе. Этим назначением он был обязан ходатайству главнокомандующего 2-ой армии, гр. Витгенштейна, и давней дружбе с Киселевым, который в то время состоял начальником штаба при Витгенштейне. Очевидно, ему с большой неохотой вручали активное командование, да и то лишь возможно дальше от центра, в далекой и некультурной окраине.

---

<sup>20</sup> По-русски, как и следующие письма.

Как свидетельствуют письма, Орлов выехал из Киева в Кишинев 10 июля 1820 г. В Тульчине, по пути из Киева на место новой службы, он стал членом тайного общества<sup>[13]</sup>. Его приняли Фон-Визин, Пестель и Юшневский. Позднее, на следствии по делу 14 декабря, он заявлял, что к вступлению в Союз Благоденствия его побудили их упреки, «что, зная все их тайны и имена многих, не великодушно мне не разделять их опасности»<sup>21</sup>. Это звучит правдоподобно, – и во всяком случае несомненно, что он вступил в тайное общество без мысли об активной революционной деятельности. В одном из летних писем к А. Раевскому на Кавказ, сообщая о своей встрече с С. И. Тургеневым, он с большим сочувствием отзывался о перемене, происшедшей в Тургеневе: «Правила оставил те же, но скромность в выражениях, постепенность в желаньях, принятие плана жизни и службы доказывают, что наступило время зрелости и что рассудок взял перевес над пылкостью страстей». Эти слова характеризуют настроение самого Орлова. Конечно, и он остался тот же и все так же верил в неизбежность «события», но все ясней становилось ему, что надо запастись терпением, что для «события» нужно особенное стечение обстоятельств, которого, может быть, придется еще долго ждать; а пока нельзя же было жить все на бивуаках, надо было подумать о том, чтобы «принять план жизни и службы». Сюда присоединилось еще и личное соображение: он уже давно любил Екатерину Николаевну Раевскую и как раз теперь готовился просить ее руки. Итак, он ехал в Кишинев с мыслью о более прочном устройстве, и мы видели, как доволен он был своим новым назначением, которое открывало ему сравнительно широкий простор для мирной культурной деятельности. В том самом письме, которым он извещал А. Раевского о своем переводе в Кишинев, он писал: «Политика запружена и Бог знает, когда потечет. Я также строю умственную насыпь, чтобы запрудить мысли мои. *Пускай покоятся до времени*».

Им пришлось покоиться недолго. Осенью этого же года, когда решен был вопрос о созыве на январь в Москву виднейших членов Союза Благоденствия, – в числе предполагаемых участников съезда был намечен и Орлов, и хотя он вступил в тайное общество всего несколько месяцев назад, его участие признали настолько важным, что Якушкин, ехавший по этому делу в Тульчин, должен был нарочито, с письмом от Фон-Визина, захватить в Кишинев, чтобы пригласить на съезд Орлова.

В своих записках Якушкин подробно описал и это первое свое знакомство с Орловым, и роль последнего на московском съезде. Его правдивость стоит вне сомнений, но и здесь, как во всяких мемуарах, надо строго различать три вещи: 1) объективные факты, 2) отношение к ним автора в момент самого действия, и 3) его отношение к ним в момент писания. Записки свои Якушкин писал много лет спустя; его рассказ проникнут явным недружелюбием к Орлову, и это его отношение часто резко противоречит не только самим фактам, которые он передает, но и его собственному *тогдашнему* отношению к этим фактам, поскольку оно явствует из его же рассказа.

Так, его рассказ с совершенной очевидностью свидетельствует о том, что Орлов произвел на него как нельзя более выгодное впечатление, и не только как симпатичный человек, располагавший к себе доброю и ласковостью обхождения, но и как убежденный и крайне ценный член тайного общества. Он рассказывает, что на его увещания приехать в Москву. Орлов отвечал, что пока наверное обещать не может, и с своей стороны звал его к Давыдовым в Каменку, куда сам ехал с Охотниковым. Якушкину очень не хотелось, да и незачем было, ехать в Каменку, но когда Охотников шепнул ему, что, едучи с ними, он легче уговорит Орлова, – Якушкин решил ехать к Давыдовым и, приехавши, прожил у них все время, что и Орлов, – целую неделю; при прощании Орлов действительно дал ему слово приехать на съезд в Москву. Надо знать непоколебимую убежденность Якушкина и его твердый характер, чтобы понять

<sup>21</sup> М. В. Довнар-Запольский. Мемуары декабристов. 1906. С. 6.

смысл этого эпизода. Очевидно, узнав Орлова лично, он считал его присутствие на съезде делом исключительной важности.

О поведении Орлова на этом съезде существует два диаметрально противоположных показания. Одно принадлежит Якушкину, в другом совпадают три других участника съезда – Волконский, Граббе и Н. Тургенев. Якушкин рассказывает, что Орлов привез писанный проект условий, на которых он соглашался быть членом общества; именно, он предлагал перейти к крайним революционным действиям и прежде всего завести тайную типографию и фабрику фальшивых ассигнаций. Разумеется, его план вызвал только общее изумление; «но ему, – говорит Якушкин, того-то и нужно было. Помолвленный на Раевской, в угодность ее родным он решил прекратить все сношения с членами тайного общества; на возражения наши он сказал, что если мы не принимаем его предложений, то он никак не может принадлежать к нашему тайному обществу. После чего он уехал и ни с кем из нас более не видался».

О таком предложении Орлова ни одним словом не упоминают трое других участников съезда. Волконский, – как мы видели, старый друг Орлова, – съехался с ним (и Охотниковым) в Тульчине, чтобы вместе ехать на съезд в Москву. Проездом чрез Киев, рассказывает он, Орлов решил сделать давно задуманный шаг – просить руки Екатерины Николаевны Раевской. Переговоры шли через А. Н. Раевского, и последний поставил ему коренным условием выход из тайного общества, так что, выезжая из Киева, Орлов был в нерешительности, что ему делать. Обстоятельства указали ему выход. На съезде с самого начала получено было извещение от петербургской думы, что правительство следит за действиями тайного общества и что поэтому благоразумнее будет формально закрыть общество и действовать каждому в одиночку. Так и было решено, и к этому решению примкнул Орлов. То же самое рассказывают о съезде и роли Орлова Тургенев и Граббе, при чем первый сообщает, что Орлов *с самого начала* заявил о своем намерении выйти из общества, а второй добавляет, что предложение, приписываемых Якушкиным Орлову, последний не делал, иначе их слышали бы все – «тем более, что его слова непременно принимались с напряженным вниманием»<sup>22</sup>.

Показание Якушкина настолько противоречит духовному облику Орлова и всем фактам его дальнейшей жизни (между прочим, и позднейшим отношением к нему таких непреклонных революционеров, как Охотников или В. Ф. Раевский), что его приходится совершенно отвергнуть<sup>23</sup>. На такое низкое лицемерие Орлов был неспособен, да ему и не простили бы его. Ошибка объясняется просто: Якушкин, очевидно, запямятовав, следовал в этом месте своих воспоминаний записке тайного агента Грибовского, составленной, конечно, на основании доносов и сплетен<sup>24</sup>. Дело было, без сомнения, так, как изобразил его Волконский<sup>[14]</sup>. Перед нами письмо Орлова к сестре от 12 февраля (1821 г.) из Киева; извещая сестру о своей помолвке с Раевской, он извиняется, что из Москвы не заехал к ней в Ярославль: «нетерпение узнать исход моего предложения заставило меня спешить обратно». Очевидно, по пути в Москву он сделал предложение чрез А. Раевского, который обещал приготовить ему ответ к обратному проезду; значит, дело было за согласием Екатерины Николаевны и ее родителей.

## VI

Свадьба состоялась 15 мая 1821 года. В Кишиневе молодые зажили на широкую ногу, заняв два смежных дома и держа свой стол открытым для всей военной молодежи. Орлов был

<sup>22</sup> Сравн. показание Комарова, – Довнар-Запольский. Цит. соч. С. 34–35.

<sup>23</sup> В письме к редактору Колокола по поводу выхода в свет записок Якушкина Н. И. Тургенев говорит, между прочим: «Я нахожу также несколько неосновательных и неверных рассказов о других лицах, кроме меня, и именно о Мих. Орлове» (Колокол. № 155, от 1 февр. 1863 г.).

<sup>24</sup> См. Записки И. Д. Якушкина. С. 53, и Русскую Старину. 1872. VI. С. 602. Кроме того: Тургенев. La Russie... I, 118. Волконский С. С. 410–12. Русская Старина. 1873, март. С. 374 и 1872, май, С. 775 сл.

не только самое важное после наместника лицо в городе и не только большой барин и аристократ, но и человек высоко стоявший над толпою по образованности, характеру и убеждениям. Вигель в нескольких злобных строках очень живо изображает кишиневскую обстановку Орлова: «Прискорбно казалось не быть принятым в его доме, а чтобы являться в нем, надобно было более или менее разделять мнения хозяина... Два демагога, два изувера, адъютант Охотников и майор Раевский, с жаром витийствовали. Тут был и Липранди... На беду попался тут и Пушкин, которого сама судьба всегда совала в среду недовольных. Семь или восемь молодых офицеров генерального штаба известных фамилий... с чадолюбием были восприняты. К их пылкому патриотизму, как полынь к розе, стал прививаться тут западный либерализм. Перед своим великим и неудачным предприятием нередко посещал сей дом с другими соумышленниками князь Александр Ипсиланти... Все это говорилось, все это делалось при свете солнечною, в виду целой Бессарабии». Вигель не преувеличивает: все, что мы знаем о Кишиневской жизни Орлова, показывает, что он действительно был здесь центром политического вольнодумства, а его дом – как бы либеральным клубом. О степени этого вольнодумства можно судить по тому, что всех ближе к Орлову были в Кишиневе два крайних радикала – его адъютант Охотников и известный В. Ф. Раевский<sup>25</sup>.

В этом доме Пушкин был едва ли не ежедневным гостем<sup>26</sup>.

«У нас, – пишет Екатерина Николаевна брату Александру (конец 1821 г.), беспрестанно идут шумные споры – философские, политические, литературные и др.; мне слышно их из дальней комнаты. Они заняли бы тебя, потому что у нас немало оригиналов». «Пушкин, – пишет она в другой раз (12 ноября 1821 г.), – больше не корчит из себя жестокого, он очень часто приходит к нам курить свою трубку и рассуждает или болтает очень приятно. Он только что кончил оду на Наполеона, которая, по моему скромному мнению, хороша, сколько я могу судить, слышав ее частью один раз». «Мы очень часто видим Пушкина, который приходит спорить с мужем о всевозможных предметах. Его теперешний конек – *вечный мир аббата Сен-Пьера*<sup>[15]</sup>. Он убежден, что правительства, совершенствуясь, постепенно водворят вечный и всеобщий мир, и что тогда не будет проливаться иной крови, как только кровь людей с сильными характерами и страстями, с предприимчивым духом, которых мы теперь называем великими людьми, а тогда будут считать лишь нарушителями общественного спокойствия. Я хотела бы видеть, как бы ты сцепился с этими спорщиками (23 ноября 1821 г.). Во время одной отлучки жены из Кишинева Михаил Федорович, рассказывая ей в письме, как проходит его день, писал: «К обеду собираются мои приятели. После обеда иногда езжу верхом. Третьего дня поехал со мною Пушкин и грохнулся оземь. Он умеет ездить только на Пегасе, да на донской кляче». 8-го декабря 1822 г. Екатерина Николаевна пишет брату: «Посылаю тебе письмо кажется от Пушкина; его принесла г-жа Тихонова... Пушкин послал Николаю отрывок поэмы, которую не думает ни печатать, ни кончать. Это странный замысел, отзывающийся, как мне кажется, чтением Байрона. – Его дали Муравьевым, которые привезут его тебе». Это были, конечно, «Братья-разбойники». В Кишинев приезжали к Орловым родные – Раевские, Давыдовы, все

<sup>25</sup> Биография В. Ф. Раевского написана П. Е. Щеголевым и издана отдельно в 1905 г. О рано умершем Охотникове известно мало; вот его любопытная характеристика, сделанная М. Ф. Орловым в письме к жене (Орлов пишет из своей калужской деревни в апреле 1823 г.): «Охотников пробыл здесь два дня и, все раскритиковав, все разбранив, изложив все свои философские воззрения, увозит теперь это письмо, с тем, чтобы сдать его на почту в Козельске или Мещовске. Не знаю ничего несноснее этого воплощенного нравственного совершенства, которое оговаривает всякий чужой поступок и берет на себя роль ходячей совести своих друзей. В сущности он прекраснейший и достойнейший человек, и я люблю его от всей души, но у него привычка говорить другому в лицо самые грубые истины, не догадываясь, что каждая из них бьет того словно обухом по голове». Сравн. отзыв Липранди. – Русский Архив. 1866. № 8–9. С. 1252.

<sup>26</sup> Что Орлов знал его еще из Петербурга, доказывается письмом Орлова к А. Н. Раевскому на Кавказ, от 8 июля 1820 г., где есть «поклон юному Аруету Пушкину».

люди уже близкие Пушкину, и сам он ездил с Орловыми в Киев и Каменку к их родным; словом, он стал как бы приемным членом семейства<sup>27</sup>.

## VII

Однако вернемся к Орлову. Мы видели, с какими мыслями он ехал в Кишинев: новая должность открывала ему большой простор для гуманитарной деятельности и, главное, ставила его в непосредственное общение с «народом» в лице серой солдатской массы. На эту массу и направилось теперь все его внимание. Его первой заботой по принятии начальства над 16-й дивизией было категорически запретить употребление на ученьях палок, шомполов и тесаков, его вторым делом – призвать В. Ф. Раевского к управлению уже раньше учрежденной при дивизии ланкастерской школой. И затем в продолжение всего двухлетнего времени своего командования дивизией он широко и энергично действовал в этих двух направлениях. Он не только совершенно искоренил жестокость в обращении с солдатами, но и всеми мерами старался пробуждать в них чувство человеческого достоинства, – например, принимал жалобы относительно наказаний, которым они подвергались со стороны их ближайшего начальства, и наряжал следствия по таким делам. Дивизионная ланкастерская школа под руководством В. Ф. Раевского развилась блестяще, и то, что делалось в ней и что вскоре погубило Раевского, делалось, конечно, с ведома и одобрения Орлова. Не ограничиваясь Кишиневым, Орлов основал ряд таких же училищ в тех городах и местечках дикой тогда Бессарабии, где были расположены отдельные части его дивизии, и тратил на них немало собственных денег.

Военные нравы в тогдашней России были жестоки. В той же Бессарабии, кроме 16-й, Орловской, дивизии, стояла другая – 17-я, которою командовал Желтухин. Чтобы получить наглядное представление о положении русского солдата в то время, достаточно прочесть небольшую «записку» о происшествии, случившемся в этой дивизии в 1822 году, хранящуюся в военно-ученом архиве. В мае этого года корпусный командир Сабанеев, обратив внимание на участвовавшие побеги из 17-й дивизии, где из одного только Екатеринбургского полка за шесть недель бежало 28 человек, поручил майору Липранди и аудиторю Маркову произвести следствие. Допросив пять человек дезертиров, Липранди так излагал их показания:

1- е. Жители продовольствовали их так дурно, что солдаты терпели даже голод.

1- е. Ученье слишком изнурительное производится два раза в день, во время коего всегда по несколько человек падают во фронт от сильной затяжки на груди ранцевых ремней, и за малейшую ошибку, начиная от дивизионного командира до последнего унтер-офицера, бьют. Один из них показал, что, когда зашли по отделениям направо, унтер-офицер заметил его в ошибке и бил до тех пор по шее и лицу, пока упал без чувств; вообще, унтер-офицеры дают по несколько сот палок. Сверх всего этого, по вечерам учат их пунктикам из рекрутской школы.

2- е. Содержание амуниции в требуемой чистоте, разоряя их, затрудняет до невероятности. Ранцы во всей дивизии выворочены и лакируются сапожною ваксою за собственный счет солдат; перевязи и портупей натирают белым воском после мелу. В случае же невыполнения по неимению денег и иных средств таковых требований, наказывают жестоко, как например, 2-й гренадерской роты капитан за невычищение воском перевязи наказал одного из них 300 ударов палок.

3- е. Сии самые причины вынудили их бежать; к чему 1-й гренадерской роты рядовой, служащий 12 лет, бывший уже в двух войнах и имеющий три раны, прибавил, что он хотел

---

<sup>27</sup> Екатерина Николаевна Орлова послужила Пушкину прообразом для его Марины в «Борисе Годунове». В сентябре 1925 г. он писал Вяземскому из Михайловского: «Моя Марина славная баба: настоящая Катерина Орлова! знаешь ее? Не говори однако ж этого никому». (Соч. Пушкина. Изд. Академии Наук. Переписка. Под ред. В.И. Сaitова. Т. I, СПб. 1906. С. 289).

застрелиться, но как христианин предпочел умереть от руки басурманов и потому бежал, зная, что они режут головы; но, имея несчастье быть пойманным, просит, чтобы его расстреляли.

4-е. Бежавших 17-й дивизии за границей в Молдавии очень много, так что почти в каждом селении встречаешь русского – многие из них турками взяты и будут доставлены.

5-е. Второй батальон Екатеринбургского полка содержит караул в Липканах и Хотине, что, отстоявши сутки в карауле в Липканах, идут в Хотин, и, придя после полуночи, начинают чистить амуницию и утром вступают снова в караул. В этот же день делают и ученье, для того, что генерал Желтухин, несмотря ни на какие обстоятельства, требует, чтобы резервные батальоны равнялись в учении действующим.

На этом черном фоне деятельность Орлова выделяется ярким пятном. Читатель не посетует на нас, если мы приведем здесь два образчика Орловских приказов по дивизии<sup>[16]</sup>; с той поры прошло 80 лет, но и теперь военные нравы еще далеко не достигли того уровня человечности, какой ставил себе целью Орлов. Вот один из его первых приказов, изданный 3-го августа 1820 года, то есть через неделю или две по его прибытии в Кишинев:

«Вступив в командование 1-ю пехотную дивизиею, я обратил первое мое внимание на пограничное расположение оной и на состояние нижних чинов. Рассматривая прежний ход дел, я удивился великому числу беглых и дезертиров. Устрашился, увидев, что начальство для прекращения побегов принуждено было приступить к введению смертной казни в сей дивизии, тогда как она казнь в мирное время целой России неизвестна. Сие должно доказать каждому и всем, сколь велико то зло, для искоренения которого принята правительством столь строгая мера, противная столь общему обычаю Отечества нашего.

Побеги в войсках могут случиться от многих разных причин, из коих главнейшие суть:

1) Недостаток в пище и пропитании. Я не думаю, чтоб нашелся хотя один чиновник в дивизии, который осмелился не допустить солдату следуемую ему пищу, положенную правительством, но ежели сверх чаяния моего таковые злоупотребления существуют где-либо в полках вверенной мне дивизии, то виновные недолго от меня скроются, и я обязуюсь перед всеми честным моим словом, что предам их военному суду, какого бы звания и чина они ни были, все прежние их заслуги падут пред сею непростительною виною, ибо нет заслуг, которые могли бы в таком случае отвратить от преступного начальника тяжкого наказания.

2) Послабление военной дисциплины. Сим разумею я некоторый дух беспечности и нерадения, в частных начальниках тем более предосудительный, что пример их действует быстро на самих солдат, порождает в сих последних леность и от лености все пороки. Я прошу г.г. офицеров заняться крепко своим делом, быть часто с солдатами, говорить с ними, внушать им все солдатские добродетели, пеших о всех их нуждах, давать им пример деятельности и возбуждать любовь к Отечеству, поручившему им свое хранение и свою безопасность.

Когда солдат будет чувствовать все достоинство своего звания, тогда одним разом прекратятся многие злоупотребления, а от сего первого шага будет зависеть все устройство дивизии. Большая часть солдат легко поймут таковые наставления, они увидят попечение начальства и сами почувствуют свои обязанности. Я сам почитаю себе честного солдата и другом и братом.

Слишком строгое обращение с солдатами и дисциплина, основанная на побоях. Я почитаю великим злодеем того офицера, который, следуя внушению слепой ярости, без осмотрительности, без предварительного обличения, часто без нужды и даже без причины употребляет вверенную ему власть на истязание солдат. Я прошу г.г. офицеров подумать о следующем: от жестокости и несправедливости в наказаниях может родиться отчаяние, от отчаяния произойти побег, а побег за границу наказывается смертью; следовательно, начальник, который жестокостью или несправедливостью побудит солдата к побегу, делается настоящим его убийцею; строгость и жестокость суть две вещи разные, одна прилична тем людям, кои сотворены для начальства, другая свойственна тем только, коим никакого начальства поручать не должно.

Сим правилом я буду руководствоваться, и г.г. офицеры могут быть уверены, что тот из них, который обличится в жестокости, лишится в то же время навсегда команды своей.

Из сего приказа моего легко можно усмотреть, в каком духе я буду командовать дивизией. В следующих приказах я дам на сей предмет положительные правила, но я желаю, чтобы прежде всего г.г. начальники вникнули в мое намерение и, убедившись в необходимости такового с солдатами обращения, сделались бы мне сподвижниками в учреждении строгой, но справедливой дисциплины.

Предписываю в заключение прочесть приказ сей войскам в каждой роте самому ротному командиру, для чего, буде рота рассеяна по разным квартирам, то сделать общий объезд оным. Ежели при объезде полков солдаты по спросе моем скажут, что им сей приказ не извещен, то я за сие строго взыщу с ротных командиров. Подлинный подписал генерал-майор Орлов 1-й.»

Другой приказ Орлова относится к январю 1822 г., то есть к последним дням его командования 16-й дивизией.

«Думал я до сих пор, что ежели нужно нижним чинам делать строгие приказы, то достаточно для офицеров просто объяснить их обязанности, и что они почтут за счастье исполнять все желания и мысли своих начальников; но, к удивлению моему, вышло совсем противное. Солдаты внемлют одному слову начальника; сказал: побегу вас бесчестят, и побегу прекратились. Офицеров, напротив того, просил неотступно укротить их обращение с солдатами, заниматься своим делом, прекратить самоправные наказания, считать себя отцами своих подчиненных; но и по сих пор многие из них, несмотря на увещания мои, ни на угрозы, ни на самые строгие примеры, продолжают самоправное управление вверенными им частями, бьют солдат, а не наказывают, и не только пренебрегают исполнением моих приказов, но не уважают даже и голоса самого главнокомандующего.

В Охотском пехотном полку г. майор Вержейский, капитан Гимбут и прапорщик Понаревский жестокостями своими вывели из терпения солдат. Общая жалоба нижних чинов побудила меня сделать подробное исследование, по которому открылись такие неистовства, что всех сих трех офицеров принужден представить я к военному суду. Да испытывают они в солдатских крестах, какова солдатская должность. Для них и им подобных не будет во мне ни помилования, ни сострадания.

И что ж? Лучше ли был батальон от их жестокости? Ни частной выправки, ни точности в маневрах, ни даже опрятности в одеянии – я ничего не нашел; дисциплина упала, а нет солдата в батальоне, который бы не почувствовал своими плечами, что есть у него начальник.

После сего примера, кто меня уверит, что есть польза в жестокости и что русский солдат, сей достойный сын отечества, который в целой Европе почитаем, не может быть доведен без побоев до исправности? Мне стыдно распространяться более о сем предмете, но пора быть уверенным всем г.г. офицерам, кои держатся правилам и примерам Вержейского и ему подобных, что я им не товарищ и они заблаговременно могут оставить сию дивизию, где найдут во мне строгого мстителя за их незаконные поступки.

Обратимся к нашей военной истории: Суворов, Румянцев, Потемкин, все люди, приобретшие себе и отечеству славу, были друзьями солдат и пеклись об их благосостоянии. Все же изверги, кои одними побоями доводили их полки до наружной исправности, все погибли или погинули; вот примеры, которые ясно говорят всем и каждому, что жестокое обращение к нижним чинам противно не только всем правилам, но и всем опытам. В заключение сего объявляю по дивизии: 1-е, г. майору Вержейскому отказать от батальона, а на место него назначаю 32-го егерского полка майора Юмина, 2-е, г. капитану Гимбуту отказать от роты; 3-е, прапорщику Понаревскому от всякого рода команды; 4-е, всех сих офицеров представляю к военному суду и предписываю содержать на гауптвахте под арестом впредь до разрешения начальства.

Кроме сего, по делу оказались менее виноватыми следующие офицеры, как-то: поручику Васильеву в уважение того, что он молодых лет и бил тесаками нижних чинов прежде приказов г. главнокомандующего, г. корпусного командира и моего, майорам Карчевскому и Данилевичу, капитану Парчевскому, штабс-капитанам Станкевичу и Гнилосирову, поручикам Калковскому и Тимченке и подпоручику Китицыну за самоправные наказания, за битье из собственных своих рук, делаю строгий выговор. Объявляю им две вещи: первую, что так как многие из них не спрошены комиссиею, то могут они, если чувствуют себя невинными, рапортами прямо на мое имя требовать суда, но тогда подвергнутся всем последствиям оногo, и 2-е, что ежели за ними откроются таковые поступки, то подвергнутся участи Вержейского, Гимбута и Понаревского.

Предписываю приказ сей прочесть по ротам и объявить совершенную мою благодарность низшим чинам за прекращение побегов в течение моего командования.»

Когда позднее над Орловым было наряжено следствие, ему, между прочим, был поставлен в вину случай с рядовым Суярченкой, и вот как сам Орлов излагал это дело в своем ответном донесении. Во время смотра 31-го егерского полка при опросе 9-й роты рядовой Алексей Суярченко заявил ему, что ротный командир, поручик Турчанинов, ударил его эфесом в бок так сильно, что он долго не мог дышать. Орлов вызвал Турчанинова в круг роты и пригрозил, что отнимет у него команду; Турчанинов извинился, прося приписать свой поступок минутной вспыльчивости, а не обычаю обращаться жестоко с нижними чинами. Чтобы удостовериться в этом, Орлов, отослав поручика, опросил роту, и когда все солдаты единогласно подтвердили ему, что не имеют никакой другой жалобы на своего ротного командира, он снова призвал Турчанинова в круг роты и сказал ему:

– Вы счастливы, что командуете честными солдатами, которые не хотели воспользоваться гневом моим против вас. Ваша участь зависела от них. Ежели б один рядовой еще пожаловался на вас, то после примера вашей вспыльчивости, в коем вы сами предо мною сознались, я был бы принужден отдать вас под следствие и отнять роту. Помните мое снисхождение и старайтесь на будущее время не употреблять законопротивных наказаний.

## VIII

Не прошло и года, как имя командира 16-й пехотной дивизии сделалось как бы нарицательным. Разумеется, о нем пошла двойная слава. Как смотрели на него подчиненные и солдаты, об этом, можно сказать, художественно свидетельствует донесение тайного агента из Кишинева, 1821 года. В ланкастерской школе, сообщает он, учат «кроме грамоты» «и толкуют о каком-то просвещении». «Нижние чины говорят: дивизионный командир (то есть Орлов) наш отец, он нас просвещает. 16-ю дивизию называют орловщиной... Липранди (подполковник, член тайного общества) говорит часовым, у него стоящим: «не утаивайте от меня, кто вас обидел, я тотчас доведу до дивизионного командира. Я ваш защитник. Молите Бога за него и за меня. Мы вас в обиду не дадим, и как часовые, так и вестовые, наставление сие передайте один другому»<sup>28</sup>. Здесь характерно и отношение к Орлову Липранди. Еще более, интимнее был ему предан Охотников, а В. Ф. Раевский в марте 1822 года из Петропавловской крепости писал кишиневским друзьям:

Скажите от меня Орлову,  
Что я судьбу мою сурову  
С терпеньем мраморным сносил,  
Нигде себе не изменил.

---

<sup>28</sup> Русская Старина. 1883, декабрь. С. 657–58.

Очевидно, ему еще и тут было нужно и дорого одобрение Орлова.

А начальство Орлова, ближнее и дальнее, смотрело на него косо и позаботилось учредить за его дивизией секретный надзор. Прежде всего, его дивизия сильно отставала от фронтовой части, потому что без смертного боя нельзя было вдолбить знаменитые три учебных шага; а затем, в штабе 2-й армии, к которой принадлежала дивизия Орлова, уже знали о неблагонадежности В. Ф. Раевского. Начальником этого штаба был Киселев, искренно любивший и уважавший Орлова, но державшийся правила, что в «службе нет дружбы».

Надо думать, что Сабанеев, корпусный командир, то есть ближайший начальник Орлова, ждал только первого случая, чтобы освободиться от него. Таким случаем и явился небольшой бунт в Камчатском полку<sup>17</sup>), входившем в состав Орловской дивизии. Узнав об этом происшествии от самих ослушников, Орлов приказал бригадному командиру Пушкину произвести следствие, а сам в тот же день, как и предполагал заранее, выехал к больной жене в Киев. Тайно извещенный Сабанеев нагрянул из Тирасполя на следующий день, когда Пушкин еще и не начал следствия, и, не застав Орлова, поднял шум<sup>29</sup>. Это было в декабре 1821 года, всего через полгода после женитьбы Орлова. В высших военных сферах началось против него дело, еще более осложнившееся после того, как в феврале следующего года Киселев решился наконец, арестовать В. Ф. Раевского по обвинению в преступной пропаганде среди солдат.

Орлова обвиняли в том, что распустил дисциплину в своей дивизии, потакает солдатам, ведет панибратство с подчиненными, вверил учебные заведения первому вольнодумцу в армии. Ему ставились в вину, между прочим, и приведенные выше два его приказа, а также чтение их перед ротами. Разобрать дело было поручено Киселеву. Он не приписывал Орлову преступных замыслов, – он только обвинял его в слабости и чрезмерной доброте, которою-де пользовались люди, как Раевский, для достижения своих целей; и еще более он осуждал «фальшивую филантропию» Орлова, утверждающего, «что нравственные способы приличнее и полезнее тех, которые невеждами употребляются». Все хорошо в меру, говорил Киселев: не надо калечить людей, но и палки у унтер-офицеров незачем отнимать, да и вообще «мечтания Орлова хороши в теории, но на практике никуда не годятся». Сабанеев и слышать не хотел об оставлении Орлова дивизионным командиром, и сам Киселев соглашался, что Орлову 16-й дивизией более командовать нельзя<sup>30</sup>.

Киселев предлагал Орлову почетный выход – проситься в отпуск, «на воды», а там ему дадут другую дивизию; но Орлов заупрямился и требовал формального суда. Дело тянулось почти полтора года и получило большую огласку, по-видимому даже за пределами России. «Сабанеев думал, что одним ударом меня сшибет, – писал Орлов А. Раевскому. – Ударил и подул в пальцы: сам себя ушиб. Он надеялся, что при первом случае я отклонюсь от командования дивизии и испугаюсь, но я сам требовал исследования, и тогда он взялся за клевету». Орлов жил в это время то в Кишиневе, то в Киеве, то в своей калужской деревне. Он чувствовал себя совершенно правым. Вскоре после происшествия в Камчатском полку и тотчас после ареста Раевского, он писал жене из Тульчина, куда поехал для разговора о своем деле с главнокомандующим 2-й армии гр. Витгенштейном: «Мой план защиты совсем готов у меня в голове, и если только разум способен одерживать верх над слепым, неразумным и своекорыстным усердием, – я думаю, что настоящий случай докажет мою правоту с полной ясностью и что Сабанеев своей опрометчивостью лишил себя всякого права на расположение наших общих начальников» (16 февр. 1822 г.). А в ноябре он писал кн. Вяземскому: «Дело мое идет и продолжается. Чужие края и отечество наполнились странными слухами и посреди общего

---

<sup>29</sup> Воспоминания Липранди. – Русский Архив. 1866. № 10. С. 1438–41.

<sup>30</sup> Сборник Императорского Русского Историч. Общества. Т. 78. С. 90—118; Заблоцкий-Десятовский. Граф П. Д. Киселев. Т. I. С. 158 слл.

вранья трудно постичь настоящий ход дела. Об оном я распространяться не буду, но вообрази себе собрание глупой черни, смотрящей на воздушный шар. Одни говорят – это черт летит, другие – это явление в небе, третьи – чудеса, и пр. и пр. Спускается балон, и что ж? Холстина, надутая газом. Вот все мое дело. Когда шар спустится, вы сами удивитесь, что так много обо мне говорили. Впрочем, все сие дело меня крепко ожесточило и тронуло до крайности. Ежели я достиг равнодушия, то через сильную борьбу»<sup>31</sup>.

Он не сдавался на увещания Киселева, настаивал на суде, требовал вопросов пунктов, а тем временем Киселеву пришлось по семейным делам внезапно уехать за границу, где он пробыл до начала 1823 года, – и дело Орлова было решено уже, по-видимому, без его участия: приказом от 18-го апреля Орлов был лишен дивизии и назначен состоять по армии – «то есть по фабрике и заниматься своими делами. Это самое, – писал он жене, – они могли бы сделать уже год назад». Фактически он командовал дивизией только полтора года. Его военная карьера, так блестяще начавшаяся, была кончена. Нового назначения ему не дали, и ближайшие три года, до ареста в конце 25-го года, он занимался приведением в порядок своего имения и стекляннно-фарфорового завода в Масальском уезде, жил то в деревне, то в Москве, ездил в Крым и т. д.<sup>32</sup> Он был, по-видимому, на самом дурном счету в смысле политической благонадежности, и его не спускали с глаз. В собственноручной записке Александра I, найденной после его смерти в его кабинете, среди шести видных генералов, наиболее зараженных пагубным духом вольномыслия и являющихся как бы главными очагами заразы в армии назван и Орлов<sup>33</sup>, а позднее, в конце 1825 г., Дибич доносил, что Орлов, содействуя распространению тайного общества в армии, старался, но тщетно, заодно с сыновьями генерала Раевского, заразить черноморский флот<sup>34</sup>. Этот глупый донос основывался, без сомнения, на том, что летом 1825 г. Орлов ездил в Крым с целью купить участок земли на Южном берегу. Там, между прочим, он в Симферополе свиделся с давним приятелем – Грибоедовым.

## IX

Александр Раевский жил эти годы в Одессе, куда в середине 1823 г. переехал и Пушкин. Они прожили здесь вместе год в теснейшей дружбе, если только можно назвать дружбой взаимное тяготение двух противоположных натур. Раевский заслуживает того, чтобы на нем остановиться подробнее.

Один из людей, знавших его в те годы, говорит: «Этот Раевский действительно имел в себе что-то такое, что придавливало душу других. Сила его обаяния заключалась в резком и язвительном отрицании». Другой – Вигель, ненавидевший его страстно и глубоко, как только и может человек ненавидеть самого себя в своем прообразе, – называет его адским смешением самолюбия, коварства и злобы, говорит о его презрении к людям и глубочайшем эгоизме, о его твердом уме, лишенном благородства. И даже родной отец, этот прекрасный, цельный и умный человек, нежно любивший всех своих детей, с болью свидетельствовал, что у Александра «холодное, себялюбивое сердце». Вот отрывок из его письма к старшей дочери, писанного в 1820 году: «С Александром живу в мире, – но как он холоден! Я ищу в нем проявления любви, чувствительности, и не нахожу их. Он не рассуждает, а спорит, и чем более он неправ, тем его тон становится неприятнее, даже до грубости. Мы условились с ним никогда не всту-

---

<sup>31</sup> Русский Архив. 1884. 4. С. 391.

<sup>32</sup> Вот кстати любопытные цифровые данные о его состоянии и о тогдашних ценах. В июле 1822 г. он сообщает жене расчет, по которому хотел бы продать это имение с заводом, если бы нашелся покупатель: 230 заводских рабочих – по 1 тыс. руб., 500 крестьян – по 300 руб., 23 000 десятин – по 30 руб., постройки – 70 000 руб., инструменты – 50 000, материал – 100 000, а всего 1 290 000, но если бы дали миллион, то взял бы.

<sup>33</sup> Русская Старина. 1883, дек. С. 659.

<sup>34</sup> Шильдер. Николай I. Т. I. С. 238.

пать ни в споры, ни в отвлеченную беседу. Не то, чтобы я был им недоволен, но я не вижу с его стороны сердечного отношения. Что делать! таков уж его характер, и нельзя ставить ему это в вину. У него ум наизнанку; он философствует о вещах, которых не понимает, и так мудрит, что всякий смысл испаряется. То же самое с чувством: он очень любит Николашку<sup>35</sup> и беспрестанно его целует, но он так же любил и целовал Аттилу<sup>36</sup>. От него зависит, чтобы я его полюбил или, вернее, чтобы я открыл ему мою любовь. Я думаю, что он не верит в любовь, так как сам ее не испытывает, и не старается ее внушить. Я делаю для него все, когда только есть случай, но я скрываю чувство, которое побуждает меня к этому, потому что он равнодушно принимает все, что бы я ни делал для него. Я не сержусь на него за это. Делай и ты так, Катенька; он тебя любит настолько, насколько способен любить. Говорю тебе это для того, чтобы тебе не пришлось страдать от ошибки, тягостной для нежного сердца. Николай будет, может быть, легкомыслен, наделает много глупостей и ошибок; но он способен на порыв, на дружбу, на жертву, на великодушие. Часто одно слово искупает сто грехов». – В этом портрете недостает одной существенной черты: старик не мог знать того сарказма, которым обычно дышала речь Александра, – для этого он слишком импонировал сыну. Но вот две мимоходом брошенных заметки, которые дополняют портрет. В 1823 году Орлов пишет А. Н. Раевскому из Москвы: «Я не видел здесь никого, кроме моих родных, и все мои сношения с ними представляли собою одно непрерывное излияние нежных чувств – вещь, я знаю, тошнотворная для твоего стоического сердца»; а в 1841 г. тот же Орлов пишет жене, что только что был с Эвансом у Александра и что его девочке лучше: «Он осыпал нас обоих сарказмами; это хороший знак: если к нему вернулись его сарказмы, это показывает, что к его дочке возвращается здоровье».

Любопытно, что этот друг Пушкина и прототип пушкинского «Демона» и наружностью удивительно походил на того гетевского друга Мерка, который послужил моделью для Мефистофеля: он был высок и худ, почти костляв, с небольшой головой, длинным и острым носом, очень широким с тонкими губами ртом и маленькими изжелта-кариими глазами, которые блестели сквозь очки наблюдательным и слегка насмешливым взглядом; «он всегда, – прибавляет очевидец, – (я думаю, даже когда спал) сохранял саркастическое выражение»<sup>37</sup>.

Раевский был, конечно, очень умен. Пушкин, после первого сближения с ним на Кавказе, писал о нем, что он будет «более, нежели известен», а на словах, как передавали слышавшие, выражался еще решительнее: «при тогдашнем всеобщем ожидании политических перемен во всех углах Европы Пушкин говорил об А. Раевском, как о человеке, которому предназначено, может быть, управлять ходом весьма важным событий»<sup>38</sup>. Это был ясный, холодный и твердый ум, гордый и независимый, казавшийся на первый взгляд непобедимым. Его сила заключалась в необыкновенной остроте взгляда, с которой он подмечал иррациональное. Никакое противоречие, никакая туманность мысли, никакой каприз воли не ускользал от него; он мгновенно вскрывал невинную хитрость бедной души человеческой и безжалостно казнил ее самообман одним словом, одной язвительной насмешкой. Он не знал иллюзий, был недоступен им и по злему инстинкту неумолимо охотился за ними в других. И так как всякое чувство – иллюзия и каприз, то перед его взором не могло уцелеть ни одно нравственное чувство: он обдавал холодом энтузиазм и, шутя, показывал элементарный эгоизм на дне всякого благородства. Пушкин так изображает Раевского-демона:

Неистоимой клеветой  
Он Провиденье искушал,

---

<sup>35</sup> Ребенок-черкес, приемный А. Н. Раевского, который вывез его 3-х лет раненого с Кавказа и на коленях привез в Киев.

<sup>36</sup> Собака.

<sup>37</sup> Русская Старина. 1899, май. С. 241.

<sup>38</sup> Анненков. А. С. Пушкин в Александровскую эпоху. – Вестник Европы. 1874, янв. С. 8.

Он звал прекрасное мечтою,  
Он вдохновенье презирал;  
Не верил он любви, свободе,  
На жизнь насмешливо гляде  
– ли ничего во всей природе  
Благословить он не хотел.

Но ум, лишенный способности чувствовать силу и красоту иррационального в мире, – плоский и скудный ум, и таков, при всей своей остроте, был ум Раевского. Высшие сферы человеческого духа были для него закрыты. Вигель говорит по поводу его отношений к Пушкину: «Поэзия была ему дело вовсе чуждое, равномерно и нежные чувства, в которых видел он одно смешное сумасбродство». То подтверждается документально. В марте 1825 года, когда Раевский страдал бессонницей, сестра прислала ему для развлечения рукопись «Горе от ума» (он был приятель с Грибоедовым), и вот что он писал ей затем: «Твоя глупая пьеса, которую я читал всю эту ночь, отвратительна во всех отношениях: две-три меткие черты не составляют картины и не могут искупить ни отсутствие плана, ни нелепость характеров, ни жесткость и беспорядочность версификации, достойной Тредьяковского. Меня всегда удивляет, как Грибоедов, с его острым умом, становится тяжел и нелеп, лишь только возьмет в руки перо».

В атмосферу этого-то ума, как раскаленное железо в холодную воду, погрузился Пушкин. Это были два человеческих типа в необыкновенно ярких проявлениях, две противоположные нравственные стихии: наивысшая полнота переживаний и скудность рассудочной мысли, нераздельность порыва – и чувство, парализованное в корне, наивное ясновидение – и жалкая пронизательность рассудка. Но глубокая мудрость Пушкина была безоружна, как голый ребенок, а трезвый ум Раевского был вооружен всем оружием логики; и случилось то, что всегда случается в таких случаях: умный покорил мудрого, и, как всегда, – на минуту. Пушкин ясно говорит:

*Но, одолев мой ум в борьбе,  
Он сочетал меня невольно  
Своей таинственной судьбе.*

Иначе и не могло быть. На стороне Раевского были два великих преимущества: первое – та непоколебимая уверенность, которая всегда присуща абсолютному скептицизму; эта уверенность сообщала его отрицанию неотразимую убедительность, его сарказму – страшную остроту. Второе – то, что та стихия, которой Раевский был олицетворением, жила и в самом Пушкине. Потому что холодная расчетливость ума присуща поэту даже в большей степени, чем средним людям: без нее как мог бы он мерить, отбрасывать, шлифовать формы? Она обуздана в нем высокой настроенностью духа и несет лишь служебную роль, но в ней – опасное искушение.

Пушкин сам в чудесных строках описал свою дружбу с Раевским<sup>39</sup>. Во власти, которую приобрел над ним Раевский, было какое-то наваждение, и самому Пушкину чудились здесь дьявольские чары. От него веяло на Пушкина дыханием смерти:

*Его улыбка, чудный взгляд,  
Его язвительные речи  
Вливали в душу хладный яд.*

---

<sup>39</sup> «Демон», черновые наброски этого стихотворения и варианты XLV строфы I гл. «Онегина».

Юзефович рассказывает, что Пушкин, ходивший к Раевскому обыкновенно по вечерам, выговорил себе право тушить свечи, чтобы разговаривать с ним свободнее впотьмах. И в то же время Пушкин жадно слушал эти речи, он упорно повторяет:

Непостижимое волнение  
Меня к лукавому влекло...  
Я неописанную сладость  
В его беседах находил...

В чем же была тайна этого очарования? Что сообщало такую сладость беседам?

Пред Пушкиным открывалась здесь новая, неожиданная точка зрения на мир. В своей наивной мудрости он ощущал до сих пор мир, как неразгаданную увлекательную тайну, и жадно смотрел вокруг и вглядывался в бездонную глубь бытия, ища разгадать эту тайну; а Раевский давно разгадал ее и знал все с полной ясностью:

Он обещал...  
Истолковать мне все творенье  
И разгадать добро и зло...

Каждой своей улыбкой, каждым мимолетным сарказмом он говорил поэту: все твои мысли о жизни – вздор; ты видишь в ней глубину и тайну, потому что одурачен романтическим бредом. Взгляни трезво, и ты увидишь, что вся она – смесь немногих простых и в сущности дрянных элементов.

Эта плоская мудрость была бы безвредна для Пушкина, если бы в нем самом не было задатков того же рационализма, да если бы еще ранние страдания не ожесточили его самого и не научили презирать людей. Но голос внутри его сочувственно откликнулся на цинизм Раевского: «Я стал взирать его глазами», говорит Пушкин:

С его неясными словами  
Моя душа звучала в лад.

И казалось, секрет действительно разгадан; но, Боже мой, как жалко было то, что открылось, и с какой бесконечной грустью Пушкин говорит: *Мне жизни дался бедный клад!*

Но и сам Раевский был глубоко несчастлив. Где-то за семью замками эгоизма и холодной рассудочности в его душе жила большая острая нежность, и я думаю, когда он спал, его лицо не сохраняло саркастического выражения, а принимало отпечаток скорби, и еще резче становилась морщина между бровей, унаследованная им от отца. Во время его близости с Пушкиным в Одессе ему было 28 лет; с 15-ти лет он вел походную жизнь, сначала при отце, потом адъютантом при Воронцове во Франции, в 1818 году служил на Кавказе и жил в одной палатке с Ермоловым, в 1820 году товарищем Чаадаева по адъютантству при Васильчикове<sup>[18]</sup>. Теперь он полковником празднично жил в Одессе. Он переехал туда вслед за Воронцовым, назначенным на пост Новороссийского генерал-губернатора, – переехал потому, что любил жену Воронцова. Она была ему сродни и давно близка: она была дочерью графини Браницкой, приехавшей к нему, кажется, троюродной теткой и не чаявшей в нем души. Он часто гостил у Браницкой в ее царственных поместьях (ей принадлежала Белая Церковь и в трех верстах Александрия с чудным дворцом), и как раз в 1822 году долго жил у нее одновременно с Воронцовой. В это время, по-видимому, он и полюбил ее. Летом этого года он писал сестре из Александрии, что среди царящей там скуки его единственное утешение – Воронцова: «Она очень приятна, у нее меткий, хотя и не очень широкий ум, а ее характер – самый очаровательный, какой я знаю. Я

провожу с нею почти весь день». Будучи издавна близок и с мужем, он в Одессе занял в их доме родственное положение. О происходившем здесь существуют только смутные сведения. Вигель, как очевидец, и П. Капнист – по рассказам современников<sup>40</sup> передают, что Раевский для прикрытия своего чувства к графине воспользовался Пушкиным: Пушкин не замедлил влюбиться в Воронцову, и на него-то обратилась вся подозрительность, а потом и ненависть мужа. Вигель прибавляет, что, не довольствуясь этим, Раевский еще разжигал безнадежную страсть Пушкина и с дьявольским злорадством тешился его восторгами и мукой. Но достоверно то, что Раевский сам глубоко страдал. В сентябре 1825 года он писал сестре: «Милый друг, я все так же печален, как всегда, мое существование бессмысленнее, чем когда-нибудь, и я не вижу никакой утешительной надежды ни с какой стороны». И в позднейших своих письмах к ней он беспрестанно повторяет то же.

От Пушкина не ускользнула удивительная красота чувства, овладевшего Раевским, этого нежного цветка, расцветшего в безводной пустыне. Уже несколько лет он по-своему рассказал эту историю, возведя в перл создания и демона – Раевского и Воронцову – молодую, счастливую мать, чей быстрый, нежный взгляд и улыбку уст с удивлением вспоминал потом даже Вигель, и чью всегда несколько склоненную вниз головку Пушкин так часто чертил пером в своих тетрадах.

В дверях Эдема ангел нежный  
Главой поникшею сиял,  
А демон мрачный и мятежный  
Над адской бездною летал.

Дух отрицанья, дух сомнения  
На духа чистого взирал,  
И жар невольный умиленья  
Впервые смутно познавал.

Прости, он рек, тебя я видел,  
И ты не даром мне сиял:  
Не все я в мире ненавидел,  
Не все я в мире презирал.

## Х

В январе 1825 года в Киеве состоялась свадьба будущего декабриста кн. С. Г. Волконского с Марией Николаевной Раевской, сестрой Александра. В своих записках Волконский рассказывает, что, будучи давно влюблен в М.Н. и решив, наконец, сделать предложение, он повел дело чрез своего друга Орлова, при чем категорически заявил, что если его принадлежность к тайному обществу будет признана помехою в получении руки М.Н., то он, хотя с болью, предпочтет отказаться от своего счастья, нежели изменить своим убеждениям. Однако согласие было дано. Раевской было 17 лет, ему 36. Она с грустью шла под венец, покоряясь отцовской воле. «Мои родители, – говорит она, – думали, что обеспечили мне блестящую по светским воззрениям будущность».

Известие о 14 декабря застало Орлова в Москве. Принимал ли он последние 2–3 года какое-нибудь прямое участие в делах тайного общества, об этом ничего неизвестно. По-види-

---

<sup>40</sup> Русская Старина. 1899, май. С. 143.

тому, от активной деятельности он держался в стороне. Но нет никакого сомнения, что он поддерживал самые тесные отношения с некоторыми виднейшими членами общества, был осведомлен, так сказать, об ежедневном ходе дел в московском кружке и в Южном обществе и пользовался большим престижем среди заговорщиков.

События, разыгравшиеся в московском кружке 16–18 декабря, доказывают, что московские, а отчасти и петербургские заговорщики придавали большое значение участию Орлова, и что первые, идя к нему, были заранее уверены в его полном сочувствии их делу.

Из неясного рассказа Якушкина можно извлечь следующие фактические сведения, подтверждаемые и другими показаниями<sup>41</sup>.

Когда получено было в Москве Семеновым письмо от Пущина с известием о том, что в Петербурге решено сделать попытку восстания, на первом предварительном совещании между Якушкиным, Фон-Визиним, Шереметьевым и Митьковым (в ночь с 15 на 16 декабря) условлено было созвать назавтра (или на 18) московских членов к Митькову и пригласить на это собрание Орлова. Между тем Нарышкин выпросил у Семенова письмо Пущина, чтобы показать его Орлову, «как принимавшему участие в делах общества и по своей скромности ему известному»; притом, и сам Пущин писал, чтобы его письмо показали Орлову. Вечером 17 декабря Фон-Визин приехал к Орлову и показал ему это письмо. На утро, рассказывает Якушкин, Фон-Визин просил его (Якушкина) непременно побывать у Орлова и привести его вечером к Митькову. В это время в Москве уже все знали о неудачном исходе события 14 декабря. Приехав к Орлову под Донской, Якушкин вошел к нему со словами: «Eh bien, général, tout est fini<sup>42</sup>». Орлов протянул ему руку и с уверенностью отвечал: «Comment fini? Ce n'est que le commencement de la fin<sup>43</sup>». Тут вошел незнакомый Якушкину Муханов, который, рассказав подробности о многих петербургских заговорщиках, арестованных после 14 числа, сказал, что надо во что бы ни стало выручить их и что он поедет в Петербург и убьет императора. При этих словах Орлов встал, подошел к Муханову, взял его за ухо и поцеловал в лоб. Якушкин уговаривал Орлова поехать к Митькову, где все его ждали, но Орлов отвечал, что не может приехать, так как сказался больным, чтобы не присягать сегодня; «а между тем, – пишет Якушкин, – он был в мундире, звезде и ленте, и можно было подумать, что он возвратился от присяги». Совещание у Митькова прошло без толку, и в ближайшие дни московские заговорщики начали присягать; так, 20 декабря принес присягу Фон-Визин. 21 декабря первым в Москве был арестован Орлов и тотчас отвезен в Петропавловскую крепость; прочих московских взяли только погодя, Якушкина, например, лишь спустя три недели.

27 декабря был арестован в полку младший Раевский Николай, 29-го в Белой Церкви – Александр, 7 января в Умани взят Волконский, жена которого родила пять дней назад, и к числу этих арестованных надо присоединить еще В. Л. Давыдова из Каменки, брата по матери старику Раевскому. Таким образом, из одной этой семьи взято было пять человек. 5 января, еще не зная об аресте Орлова, и до ареста Волконского и Давыдова<sup>44</sup>, старик Раевский писал другому брату, П. Л. Давыдову, что оба его сына взяты и увезены в Петербург. «Если сие происшествие и огорчительно, по крайней мере, не нарушает моего спокойствия: на сыновей моих я не имею надежду, – ты знаешь, брат Петр, что я без основания утверждать не стану, но отвечаю за их невинность, за их образ мыслей и за их поступки... Вот, брат милый, несчастливые

<sup>41</sup> Общественное движение в России. Т. I, – статья В. И. Семевского. С. 46 и сл.; Якушкин. С. 74 и сл.; Доклад следственной комиссии, и пр.

<sup>42</sup> Итак, генерал, все кончено (франц.).

<sup>43</sup> Как кончено? Это только начало конца (франц.).

<sup>44</sup> Кн. П. В. Долгоруков в своем некрологе кн. С. Г. Волконского (Колокол. № 212, от 15 янв. 1866 г.) говорит, что после 14-го декабря старик Раевский уговаривал Волконского бежать за границу, но тот не послушался его и 7 января поехал в Умань, где и был взят.

обстоятельства. Меры правительства строги, но необходимы, говорить нечего; со всем тем, время для всех вообще чрезвычайно грустное»<sup>45</sup>.

14 января 1826 г. оба брата Раевские из заключения написали сестре Екатерине Николаевне (то есть Орловой). Александр писал ей: «Мы спокойны и здоровы и тревожимся только о тебе. Ради Бога, береги себя, не поддавайся отчаянью... У нас есть книги, помещение хорошее, и мы ждем отца, который должен теперь скоро приехать». Это письмо из-за разных формальностей было отправлено только 16-го; в промежутке Раевские получили от сестры часы и деньги. 18-го А.Н. уже опять писал сестре: «Спасибо, милый друг, за твое письмо от 13-го. Только через тебя мы и получаем известия о нашей семье. Я очень рад, что отец решил остаться на контракты; это доказывает, что он не беспокоится о нас больше, чем следует; это с его стороны знак доверия к нам. Удивляет меня только, что до сих пор от него нет прямых известий... Что до нас, то мы здоровы и терпеливо переносим свое заключение, так как у нас есть книги, удобная комната, деньги и хорошая пища, которую нам приносят из трактира». На следующий день, 19 января, А. Раевский уже извещал сестру, что и он, и брат свободны.

Они, действительно, не были ни в чем замешаны, и их арестовали только по огульному доносу, основанному, конечно, на их родственной близости с Орловым, В. Л. Давыдовым, Волконским и другими обвиняемыми. Следствие обнаружило их полную непричастность к заговору, и их отпустили. В записках Лорера есть любопытный рассказ о допросе Раевских Николаем. Призвав их к себе, царь сказал Александру Раевскому: «Я знаю, что вы не принадлежите к тайному обществу: но имея родных и знакомых там, вы все знали и не уведомили правительство; где же ваша присяга?» Александр Раевский, один из умнейших людей нашего времени, смело отвечал государю: «Государь! Честь дороже присяги; нарушив первую, человек не может существовать, тогда так без второй он может обойтись еще»<sup>46</sup>.

Мы знаем, что обычно такие ответы приводили Николая в ярость. Как бы то ни было, Раевских он решил помиловать, как ввиду их невинности, так и ради заслуг, высокого положения и заведомой лояльности их отца. Но в то же время он захотел использовать и это помилование; оправдание Раевских должно было путем соответственной инсценировки получить характер публичного назидания, стать как бы отрицательной казнью. И вот, 20 января оба Раевских были удостоены чрезвычайно любезного приема на аудиенции; царь поручил Александру написать отцу об их освобождении и о готовящемся на его имя указе, обнадежил их насчет Орлова и предложил Александру, который уже несколько лет не служил, вновь поступить на службу или быть камергером. Раевский, поблагодарив, отговорился плохим состоянием здоровья, а в письме к отцу, где он на следующий день описывал эту аудиенцию, он признается, что не желал бы воспользоваться «никакой милостью до тех пор, пока участь мужей моих сестер не будет окончательно решена». 23 января был подписан и затем опубликован в газетах высочайший рескрипт на имя старика Раевского: «С особенным удовольствием могу уведомить вас, что следственная комиссия, рассмотрев поведение сыновей ваших, нашла их совершенно невинными и непричастными к обществу злоумышленников, и что я первый душевно радуюсь, что дети столько достойного отца совершенно оправдались. Пребываю, впрочем, всегда к вам благосклонным. Николай». Сверх того, от следственной комиссии был выдан А. Н. Раевскому «Аттестат» о его невинности<sup>47</sup>.

---

<sup>45</sup> Записки кн. Волконской. Приложения. С. 124.

<sup>46</sup> Русский Архив. 1874. I. С. 389.

<sup>47</sup> Рескрипт и аттестат напечатаны в «Приложениях» к Запискам кн. Волконской. С. 128.

## XI

Теперь Александр Раевский настойчиво звал отца в Петербург, потому что дела Орлова и особенно Волконского принимали очень серьезный оборот. Николай, конечно, издавна знал о политическом вольнодумстве Орлова и о влиянии, которым он пользовался в оппозиционных кругах общества. Имя Орлова встретил он и в той собственноручной записке Александра I, которая нашлась в кабинете покойного императора<sup>[19]</sup>; а следствие на первых же порах дало веский фактический материал для обвинения. Открылось, что однажды, говоря о Пестеле, властолюбие которого внушало заговорщикам, как известно, большие опасения, Трубецкой сказал:

- Должно будет послать Орлова во 2-ю армию, и сила Пестеля исчезнет.
- Да разве Орлов наш? – спросил Рылеев.
- Нет, – отвечал Трубецкой, – им владеют Раевские; но тогда поневоле будет наш.

Далее было дознано, что накануне мятежа, 13-го, диктатор-Трубецкой послал Орлову в Москву письмо с кавалергардским офицером Свистуновым, который в пути, узнав о событии 14 декабря, сжег это письмо. По показанию Трубецкого, он в этом письме, не упоминая о причинах, звал Орлова в Петербург, но прибавлял: «Если быть чему-нибудь, то будет и без вас, как при вас». Это показывало, что заговорщики во всяком случае имели основание считать Орлова своим единомышленником и придавали большое значение его поддержке. О том же свидетельствовала открывшаяся на допросах история Пущинского письма. Сам Трубецкой на вопрос следственной комиссии, чем была обусловлена его решимость сделать такое предложение Орлову, отвечал: «Решился я сделать столь опасное предложение ген.-м. Орлову по причинам, кои я уже и прежде объяснял: то есть, что ген.-м. князь С. Г. Волконский сказывал мне по приезде моем в Киев, что хотя ген.-м. Орлов теперь и не вмешивается ни во что и от всех обществ отстал, но в случае нужды можно на него надеяться, и что я и сам полагал, что ген.-м. Орлов, которого образ мыслей столь гласен был прежде, по каким-нибудь причинам только притаился, но образа мыслей своего не переменял»<sup>48</sup>. Но главное обвинение против Орлова состояло в том, что, когда Никита Муравьев сообщил ему о решении Якубовича убить императора, он не донес властям.

Орлов был привезен в Алексеевский рavelин 29 декабря, а на следующий день Николай велел Сукину перевести его на офицерскую квартиру, «дав свободу выходить, прохаживаться и писать, что хочет, но не выходя из крепости»<sup>49</sup>. 31 декабря Бенкендорф наедине снял с него допрос в крепости. 4 января Орлов по требованию Николая представил в следственную комиссию обширную записку о своем отношении к Союзу Благоденствия и к членам тайного общества. Это была чрезвычайно искусная апология, где все фактически верно, но все так сопоставлено и освещено, что получается картина, очень далекая от истины. Она написана в тоне отвращения и ужаса перед безумством заговорщиков; самое неприятное в ней – ее аффектированное чистосердечие и благородство, подчеркиваемое на каждой странице. Из дополнительных запросов, поставленных Орлову следственной комиссией в ближайшие дни, видно, что она не придала большой веры его записке<sup>50</sup>.

9 января статс-секретарь Вилламов, фактотум<sup>[20]</sup> императрицы и свой человек во дворце, записал в своем дневнике, со слов шталмейстера Самарина, сцену допроса М. Ф. Орлова царем<sup>51</sup>.

<sup>48</sup> Довнар-Запольский. Цит. соч. С. 311.

<sup>49</sup> Собственноручные повеления Николая на имя ген.-м. Сукина. – Былое. 1906, май. С. 202.

<sup>50</sup> Эта записка, как и дополнительные показания Орлова, напечатаны в сборнике: М. В. Довнар-Запольский. Мемуары декабристов. 1906. С. 1—26. В предыдущем изложении мы пользовались ею с величайшей осторожностью.

<sup>51</sup> Воцарение императора Николая I (Из дневника Г. И. Вилламова). – Русская Старина. 1899, март. С. 670–671.

Позвав Орлова в свой кабинет, Николай сказал ему:

– В этот момент с тобой говорит не император, но Николай Павлович.

Они уселись.

– Ты любил моего покойного брата; ты знаешь, что он тебя любил также; ты ему обещал оставить это сообщество. Что же ты сделал? Вот письмо, которое ты писал после своего обещания. Что ты можешь ответить? Честный человек сдерживает свое слово, и т. д. Говори, что можешь сказать!

Орлов не дал никакого ответа, несмотря на дружественные увещания императора, который, наконец, поднялся и сказал ему:

– Теперь император приказывает тебе: иди прочь! – При этом государь показал Орлову дверь. Сконфуженный Орлов хотел что-то пробормотать, но император, показывая дверь, сказал ему:

– Император не повторяет; теперь ты станешь отвечать в крепости на вопросы комиссии.

Этот неудавшийся допрос мог бы сильно повредить Орлову, но дело скоро разъяснилось, как видно из следующего письма А. Н. Раевского к сестре Орловой. «Милый друг, – писал он, – теперь я могу подробнее рассказать тебе историю Михаила. Дело в том, что он принадлежал к первому обществу, которое по своим замыслам было гораздо менее преступно, нежели второе, так, что большая часть тех, кто принадлежал к нему, уже освобождены. Но против него было еще другое обвинение, более тяжкое, – это сообщения, сделанные ему в Москве Никитой Муравьевым, и письмо, которое должен был показать ему Фон-Визин. В последней вине его оправдало простое сопоставление дат; что же касается первого обвинения, то тут его вполне оправдывает то моральное освещение, в котором представил ему дело Никита. История Мемнона совсем его не касается – тут он чист. Главная ошибка Михаила та, что он нехорошо вел себя с императором, не отвечал как следовало на его дружеские увещания; он оскорбил его лично. Но потом Михаил объяснился: причиной его молчания было присутствие Левашева. Теперь это дело поправлено».

«Моральное освещение» заключалось в том, что, сообщая Орлову о намерении Якубовича, Муравьев настойчиво-де говорил о необходимости всячески помешать этому безумию<sup>52</sup>, так что Орлов, будто бы, и весь разговор принял за хитрость с целью снова завлечь его в тайное общество, чтобы посредством его влияния предотвратить злодейства и несчастья. Это было хорошо придумано, но, конечно, ни этот отвод, ни разъяснение причины своего молчания на царском допросе не спасли бы Орлова: мало ли людей, гораздо менее заподозренных, чем он, ушли в Сибирь по делу 14 декабря! Но он имел могущественного заступника в лице своего брата Алексея.

А. Ф. Орлов был года на два старше Михаила, такой же из себя богатырь и красавец, такая же открытая и талантливая натура, но уже умом и жестче сердцем. Не портя своей карьеры вольнодумством, напротив – искореняя его и в подчиненных, он, в противоположность брату, быстро и без задержек шел в гору, давно уже был генерал-адъютантом и пользовался дружеским расположением великих князей. Мятеж 14 декабря застал его командиром конногвардейского полка. Известно, как много Николай был обязан своей победою в этот день преданности и решимости Орлова: он первый из полковых командиров явился со своим полком на Сенатскую площадь и первый повел его в атаку на карре мятежников. 25 декабря Алексею Орлову пожаловано было графское достоинство, и с этих дней в течение всего царствования Николая он был, как известно, ближайшим другом и доверенным последнего.

Нет сомнения, что он с первой же минуты следствия начал действовать в пользу брата. Выпросил себе у Николая разрешение посещать брата в тюрьме невозбранно<sup>53</sup> и будучи непре-

---

<sup>52</sup> Так показал на следствии и сам Муравьев.

<sup>53</sup> Это разрешение было ему дано на следующий день после водворения М. Ф. Орлова в Алексеевском равелине, 30 декабря

рывно осведомлен о ходе допросов, он мог, во-первых, сообщать Михаилу нужные сведения о поведении других подсудимых и руководить его показаниями; кроме того, он, без сомнения, и прямо просил за него Николая. Этим было сразу обусловлено благоприятное отношение царя к М. Ф. Орлову, выяснившееся уже на аудиенции братьев Раевских 20 января, так что в том письме, уже цитированном выше, где А. Н. Раевский описывал отцу эту аудиенцию, он уже мог сообщить успокоительные известия об Орлове: «Его величество велел мне передать тебе относительно Орлова, что хотя он и виновен и был одним из первых соучастников этого общества, но не разделял его преступных замыслов, и вся его вина заключается в том, что он не открыл того, что знал по этому поводу. Его величество отозвался о нем весьма милостиво, сказав, что сделает все возможное, дабы облегчить его участь; я не имею более никаких опасений относительно нашего дорогого Михаила; приехав сюда, ты доверишь остальное».

«Что до Волконского, – продолжает тут же Александр Николаевич, – то его дело гораздо хуже. Его величество сказал мне, что он даже не достоин того участия, которое ты, вероятно, оказываешь ему, и велел мне предупредить тебя об этом». В конце письма он опять с явной тревогой возвращается к положению Волконского и опять просит отца приехать: «ты можешь своими просьбами много облегчить участь Волконского, а следовательно и Маши»<sup>54[21]</sup>.

## XII

А Мария Николаевна лежала в это время, тяжело больная после родов, в усадьбе отца, Болтышке, Киевской губ. Она ничего не знала; когда, приходя в себя, она спрашивала о муже, ей говорили, что он уехал по делам службы в Молдавию. Старик Раевский не решался оставить ее одну с матерью, и в то же время рвался в Москву, чтобы успокоить Екатерину Николаевну, которой в ее состоянии (она была беременна) и при ее постоянной нервозности тревога за мужа могла причинить серьезный вред, – и оттуда в Петербург, чтобы выяснить положение дел и, если надо, похлопотать за Орлова и Волконского. Наконец, в 20-х числах января мы видим его уже в Петербурге; по пути он, конечно, останавливался в Москве. Как видно, ему тотчас была дана аудиенция, и он спешил успокоить Екатерину Николаевну: «Милый, бесценный друг мой Катенька, – писал он, – ничего тебе нового еще не скажу, но в полной надежде на хороший конец, кроме брата Василия (Давыдова) и Волконского. Прочти письмо мое к матери, запечатай и отправь по почте. Завтра надеюсь увидеть твоего мужа. Волконскому будет весьма худо, он делает глупости, запирается, когда все известно. Что будет с Машенькой! Он срамится. Государь сказал мне: «в первый раз, как я буду ими доволен (то есть Давыдовым и Волконским), в награждение им позволю тебя видеть».

Чтобы не оставлять долго женщин одних, старик 3 февраля отправил прямо к ним в Болтышевку младшего сына, Николая. Царь позволил ему (как и А. Н. Раевскому) навестить Орлова в тюрьме. Видел ли он и Волконского, мы не знаем. В столице он пробыл недолго; он уехал, по-видимому, 7 февраля, но не к себе, а к дочери в Москву, оставив в Петербурге Александра, который должен был следить за ходом дел и осведомлять о них семью. Александр сам был очень мрачно настроен: его мучил страх за судьбу сестры Маши, мучил вообще разгром, постигнувший столько родных и друзей, мучила разлука; в его письмах к сестре Орловой за это время то и дело встречаются такие строки: «Сам я все еще болен, снедаем скукой и очень печален», или: «Что до меня, то я болен и несчастен больше, чем могут выразить слова».

Орлов писал жене из крепости 3–4 раза в неделю и получал столько же писем от нее; А. Н. Раевский пишет ей каждые четыре дня, с экстрапочтой. Екатерина Николаевна, сначала

---

(Былое. Там же. С. 202).

<sup>54</sup> Письмо А. Н. Раевского к отцу от 21 янв. 1826 было впервые напечатано (в русском переводе) в Русской Старине, 1884 г., май, и затем перепечатано в «Приложениях» к Запискам кн. М. Н. Волконской, в обоих случаях – с пропуском приводимых здесь в тексте слов Николая I о Волконском; перед нами подлинник письма.

собиравшаяся в Петербург, довольно скоро успокоилась насчет мужа и осталась в Москве; да и для всей семьи, оглушенной на первых порах, уже в конце января было ясно, что тяжелый удар грозит только Маше, 18-летней, больной Маше. И в письмах А. Н. Раевского к Орловой – на первом плане дело Волконского и участь Маши. 12 февраля, вернувшись от А. Ф. Орлова, через которого он добывает сведения, Александр Николаевич пишет: «Дело Михаила будет кончено чрез четыре недели наверное; стало быть, тебе незачем приезжать сюда. Что до Маши, то ее дела отчаянно плохи, как и дела Василия; для них нет никакой надежды». Через несколько дней после этого Александр Николаевич представлялся при дворе, и 16-го он сообщает сестре: «Государь велел мне передать тебе его привет, императрица также. Все это хорошие предзнаменования для Михаила, потому что для бедной Маши мне ничего не было сказано». Два дня спустя он пишет ей длинное письмо, полное подробностей о деле: «Михаил не в ведении следственной комиссии; он был допрошен только раз, в своей комнате Бенкендорфом. Карюю ему послужит его заключение и, вероятно, отставка. Как видишь, тебе не о чем тревожиться; его не отпускают только потому, что есть и другие члены, как, например, Александр Муравьев, замешанные не более Михаила, но нужные для очных ставок, почему их и держат до окончания следствия, а если освободить Михаила, то пришлось бы освободить и остальных. Что касается Волконского, то нет такого ужаса, в котором он не был бы замешан; к тому же, он держит себя дурно – то высокомерно, то униженнее, чем следует. Его все презирают, каждую минуту в нем открывают ложь и глупости, в которых он принужден сознаваться. Бедная Маша!»<sup>55</sup>. 12 марта Александр Николаевич пишет: «Насчет Волконского не могу сообщить тебе ничего хорошего; теперь он ведет себя, по слухам, как фанатик идеи; но я не ручаюсь, что завтра он опять не начнет хныкать». И беспрестанно в своих письмах он повторяет: «Бедная Маша!» «Мне страшно подумать, что ждет бедную Машу» и т. п. И Орлов 1 апреля писал жене: «Нынче день рождения бедной Маши. Что я могу прибавить к этому, кроме того, что в страхе за нее я повторяю эту короткую молитву: *«Умилосердись, Господи, над участью Машеньки!»*<sup>56</sup>. Один Бог может дать ей довольно душевной силы, чтобы стать выше своей участи».

Старик Раевский вернулся в Болтышку в последних числах февраля, когда Мария Николаевна уже начала поправляться. Как раз в отсутствие отца ей, наконец, решились сказать правду. Узнав, где муж, она тотчас решила ехать в Петербург и, несмотря на свою болезнь и весеннюю распутицу, пустилась в дорогу с двухмесячным ребенком; оставив его по пути у гр. Браницкой в Александрии, она прямым путем, минуя Москву, двинулась дальше, а следом за нею поспешала мать. 6 апреля А. Раевский писал Орловой: «Мама приехала сегодня утром, Маша здесь со вчерашнего вечера. Ее здоровье лучше, чем я смел надеяться, но она страшно исхудала и ее нервы сильно расстроены. Бедная, она все еще надеется. Я буду отнимать у нее надежды только с величайшей постепенностью: в ее положении необходима крайняя осторожность». А отец из Болтышки 14-го писал ей вдогонку (по-русски): «Неизвестность, в которой о тебе, милый друг мой Машенька, я нахожусь, мне весьма тягостна. Я знаю все, что ожидает тебя в Петербурге.

Трудно и при крепком здоровье переносить таковые огорчения. Отдай себя на волю Божию! Он один может устроить судьбу твою. Не забывай, мой друг, в твоём огорчении милого сына твоего, не забывай отца, мать, братьев, сестер, кои все тебя так любят. Повинуйся судьбе; советов и утешений я никаких более тебе сообщить не могу».

<sup>55</sup> Мы знаем теперь, на что намекает последними словами А. Раевский: это, во-первых, история вскрытия Волконским пакета, адресованного Киселеву, которую передает в своих Записках кн. Волконская, во-вторых, ложь, в которой уличала его следственная комиссия. В «Донесении» последней читаем: «По всему видно, что и деятельнейшие в тайном обществе, точно не стыдясь, обманывали друг друга. Так г.-м. кн. С. Волконский сообщал Пестелю, что он подговорил многих офицеров из всех полков 19-й дивизии... называл некоторых, будто бы, принятых им... и после должен был признаться, что все было им вымышлено из тщеславия, для доказательства его преступного усердия».

<sup>56</sup> Эти слова написаны по-русски.

### ХІІІ

И вот началась та изумительная борьба, где слабой женщине-полуребенку был противопоставлен целый заговор мужской хитрости и настойчивости, и где в конце концов, воля сердца все же одержала верх. Наши письма дают возможность проследить перипетии этой борьбы. Все нити заговора держал в своих руках Александр Раевский; отец и старшая сестра, Орлова, действовали с ним заодно, следуя его указаниям. Их цель была – не дать Марии Николаевне последовать за мужем в ссылку; а для этого нужно было, во-первых, устроить так, чтобы она узнала о приговоре как можно позже, по возможности – когда осужденные уже будут отправлены в ссылку, во-вторых, оградить ее от влияния мужниной семьи, так как легко было предвидеть, что Волконские как раз станут внушать ей решимость разделить судьбу мужа. В начале апреля, когда она приехала в Петербург, уже все знали, что большую часть подсудимых ждет Сибирь, и некоторые жены уже готовились последовать за своими мужьями.

В этой борьбе Мария Николаевна стояла совсем одна, ни от кого не встречая дружеской поддержки или совета. Обе семьи – и мужнина, и своя – действовали корыстно, и корысть делала их жестокими, устраняла простоту и тепло отношений. Свекровь, обер-гофмейстерша Волконская, была «в полном смысле слова придворная дама»; она ни разу не съездила к сыну в тюрьму, боясь, что это свидание ее «убьет». Приехав в Петербург, Мария Николаевна сразу почувствовала себя во враждебной среде. Ее первой мыслью было, конечно, просить свидания с мужем. Волконский понимал и отчасти знал, что между ним и женою стали ее родные; недаром он не получил от нее до сих пор ни одной весточки: значит, от нее все скрывают. Еще до приезда жены в Петербург он писал из Алексеевского равелина сестре Софье Григорьевне: «Уже некоторые из жен просили и получили разрешение следовать за своими мужьями к месту их назначения, о котором они будут предуведомлены. Выпадет ли мне это счастье, и неужели моя обожаемая жена откажет мне в этом утешении? Я не сомневаюсь в том, что она со своим добрым сердцем всем мне пожертвует, но я опасуюсь посторонних влияний, и ее отдалили от всех вас, чтобы сильнее на нее действовать. Если жена приедет ко мне на свидание, то я бы желал, чтобы она приехала без своего брата, иначе ее тотчас же увезут от меня. Врач был бы при этом нужнее»<sup>57</sup>.

По воле императора, А. Ф. Орлов сам отвез ее в крепость на свидание с мужем, и при ней действительно был врач. Это свидание было единственным. Инстинктивно ища в ком-нибудь опоры, Мария Николаевна хотела дождаться любимой сестры мужа, Софьи, с которой не была знакома и которая на время отлучилась из Петербурга. Но А. Раевский стал убеждать ее, что ей необходимо ехать назад к сыну: следствие кончится еще не скоро – можно ли оставлять ребенка так долго на чужих руках? что же касается Софьи Волконской, то они несомненно встретят ее в дороге (С. Г. Волконская ехала из Белева, сопровождая тело императрицы Елизаветы Алексеевны).

Ничего не подозревая, Мария Николаевна сдалась на эти увещания и решила ехать, с целью привезти ребенка в Петербург. Раевский поехал с нею; отныне он уже не отпустит ее ни на шаг. Они поехали на Москву, чтобы повидаться с сестрой, Орловой; здесь Мария Николаевна была принята императрицей. Раевский устроил так, что с Софьей Волконской они разъехались. В Александрии они застали ребенка бледным и слабым после привития оспы. Теперь Александр становится форменно тюремщиком сестры. В Александрии для нее потянулись долгие месяцы ожидания и неизвестности. При ней находилась еще сестра София, гр. Воронцова с детьми тоже была здесь. Раевский удерживал Марию Николаевну под тем предлогом, что теперь незачем ехать, что надо подождать решения дела, а сам скрывал от нее все

---

<sup>57</sup> «Записки» кн. С. Г. Волконского. Приложение. С. 453.

получаемые письма, из которых она могла бы узнать что-нибудь о ходе следствия. 18 мая он пишет Орловой: «Маша здорова, а ее сын прелестен... Хотя она и ни о чем не догадывается, однако большую часть времени она проводит при своем ребенке, а когда есть чужие, то выходит только к завтраку или обеду; я не мешаю ей в этом, потому что нахожу это удобным. При ней все время Соня; ты знаешь, какой я плохой утешитель, благодаря моему резкому характеру. Графиня Браницкая относится к ней с трогательной добротой. Нового нет ничего. Жду известий от Бенкендорфа или Алексея насчет духовного завещания, как мы условились». «Пиши для меня одного, – просит он 1 июня. – Впрочем, я вскрываю все письма, адресованные Маше, потому что письма тетушки иной раз так зажигательны, что я не могу отдавать их ей». 9 июня он пишет другой сестре, Елене, которая жила при Орловой в Москве: «Спасибо за твои письма, милый друг; только скажи Кате, чтобы она не писала Маше ничего, относящегося до приговора и суда; она забывает, что если бы только Маша подозревала близость суда, то не было бы возможности удержать ее здесь. Необходимо, чтобы она узнала все как можно позже. Последние дни она очень грустна; не знаю, что делать с этим, потому что подавать ей ложные надежды было бы жестоко. Я решил вообще не говорить с нею обо всей этой грустной истории. Ее сын здоров, – это большое счастье». «Маша с каждым днем грустнее, – пишет он неделю спустя. – Она сердится на меня за то, что я не говорю с нею о деле ее мужа, и жалуется на это Соне; но я предпочитаю навлекать на себя ее несправедливые упреки, нежели внушать ей ложные надежды... Со дня на день ждем гр. Воронцова, который привезет нам известия». 22 июня он пишет отцу: «Дорогой отец, в своих письмах ко мне ты говоришь о приговоре, о категориях и пр., и Катя тоже, поэтому я не могу показывать ваших писем Маше, которая, по моему мнению, не должна ничего знать до окончательного решения. Пожалуйста, пишите ей отдельно, не говоря ничего, а мне – со всеми возможными подробностями. До сих пор я получал достоверные сведения благодаря письмам Воронцова к его семье, но теперь он приехал, и мы уже ничего не будем получать из Петербурга. Браницкая уезжает в Москву в первой половине июля. Маше не хочется оставаться здесь без графини, и я ей ничего не говорю об этом, исключая того, что ты к тому времени, вероятно, вернешься... Вот письмо Бенкендорфа. Предупреждаю тебя, что это – человек грубый и наглый со своими подчиненными; поэтому нельзя вполне доверять его словам. Когда ты будешь ближе к Одессе, ты сам сможешь гораздо лучше уладить дело».

Наконец суд был кончен, и 12 июля подсудимым объявлен приговор. 24 июля А. Раевский писал сестре: «Видишь, как я был прав, решив остаться с Машей, потому что она каждую минуту может узнать о своем несчастье и о всех прискорбных обстоятельствах, которыми оно сопровождалось... Хотел писать тебе много, но моя голова пуста. Я не думал, что разжалование и ссылка Волконского так расстроят меня; я был готов к этому, да и никогда не любил этого человека, а между тем мне больно и за него, не говоря уже о Маше. Не забудь напомнить отцу о денежных делах сына Маши. Волконский написал завещание, оно должно быть у министра юстиции; для этого надо обратиться к Бенкендорфу».

Раевский не торопился сообщать сестре о приговоре; он ждал, конечно, пока Волконского отправят в ссылку. Во всяком случае, главное было сделано; теперь надо было обдумать вторую половину дела, именно – дальнейшее положение Маши и ее сына. И этот вопрос он считал нужным решить также не справляясь о ее собственных желаниях, с той же деспотической непреклонностью воли, с какой он раньше решил, что ей не следует ехать за мужем. 31 июля он пишет Орловой: «Только что получил письмо от несчастного Волконского, копию которого прилагаю здесь. Я принимаю ответственность, которую он возлагает на меня, принимаю не столько ради него и его доверия ко мне, сколько ради Маши, потому что, несмотря на несчастье, постигшее этого человека, я чувствую к нему только жалость. Теперь нам надо внимательно обсудить вопрос о том, что должна делать Маша. Покажи мое письмо отцу и попроси его взвесить мои доводы без предубеждения». Тут он подробно разбирает несколько планов устройства Марии Николаевны на зиму с точки зрения удобства для нее и присутствия

надлежащей медицинской помощи для ее ребенка; затем он продолжает: «Не отнесись легко к вопросу о месте жительства Маши и о враче для ее ребенка. Помни, что в этом ребенке все ее будущее, помни о страшной ответственности, которая падет на нас, если мы не примем всех мер предосторожности, какие в нашей власти. Мы должны строго руководиться наиболее благоприятными вероятностями, а они все или за кн. Репнину, или за Одессу. Что касается ее самой, ее воли, то, когда она узнает о своем несчастье, у нее, конечно, не будет никаких желаний. Она сделает и должна делать лишь то, что посоветуют ей отец и я. Заклинаю тебя показать мое письмо отцу целиком и не поступать по собственному усмотрению; если ты не сделаешь этого, я напишу прямо отцу. Надо действовать рассудительно и оставить в стороне все мелкие соображения».

Итак, Мария Николаевна и теперь еще ничего не знала, хотя со времени приговора прошло уже три недели. Наконец, 26 июля Волконский был отправлен в ссылку. Теперь больше не было смысла скрывать от нее правду, и, вероятно, в начале августа Раевский сообщил ей все сразу – и приговор, и ссылку. Но как грубо он обманулся в своем уверенном предвидении! Он был убежден, что, узнав о своем великом горе, она истает в слезах и впадет в полное бессилие, – а случилось обратное: горе не только не парализовало ее воли, но, напротив, вдруг, как это всегда бывает с женщинами, стянуло в одну точку все тайные силы ее существа, и она явила зрелище такой непреклонной энергии в достижении своей цели, какой невозможно было ожидать от 18-летней избалованной женщины.

В своих «Записках» М. Н. Волконская рассказывает, что, узнав о приговоре, она тотчас объявила брату, что последует за мужем; Александр Николаевич, которому нужно было ехать в Одессу, сказал ей, чтобы она не трогалась с места до его возвращения, но она на другой же день после его отъезда уехала с ребенком в Петербург. Она поехала не прямо в столицу, а в Яготин, Полтавской губ., к брату мужа Репнину; этот брат, Николай Григорьевич, был в детстве переименован высочайшим указом по деду, за прекращением рода Репниных, в князя Репнина. Мария Николаевна нашла шурина больным; как только он поправился, все, то есть он с женою и Мария Николаевна с ребенком, пустились в Петербург<sup>58</sup>.

Раньше ее прибыл туда ее отец, старик Раевский. 23 октября он писал Орловой<sup>59</sup>: «Государь принял меня милостиво вместе с императрицей; они ехали гулять. Государь хотел уведомить, когда ему угодно будет пожаловать аудиенцию, чего и дожидаюсь. – Я жду Машеньку с сыном вместе с княгиней Репниной всякую минуту. Буду ее удерживать от влияния эгоизма Волконских». А 5 ноября он сообщает брату, П. Л. Давыдову: «Вчера приехала дочь моя Машенька. Ее Репнина обманом склонила отправиться сюда, будто старуха Волконская<sup>60</sup> едет к сыну; но я все это привел в порядок». Последняя записка старика помечена 20 ноября: «Дела мои приводятся к концу, но все еще дней пять пробыть должен, pour toucher un peu d'argen<sup>61</sup> для Машенькиного путешествия, которое будет, как я думаю, в январе. Государь утвердил духовную Волконского, итак ничто меня более не задержит».

Из «Записок» М. Н. Волконской мы знаем, при каких условиях она уезжала в Сибирь, как черство относились к ней родные мужа, не позаботившиеся даже снабдить ее всем необходимым для страшного путешествия. Она уехала, оставив ребенка на попечение свекрови и невесток и дав слово отцу, что вернется через год. Она поехала через Москву, и пробыла здесь два дня; здесь 26 декабря Зинаида Волконская устроила для нее музыкальный вечер, на котором был и Пушкин и который так трогательно описан другим присутствовавшим поэтом,

---

<sup>58</sup> Русская Старина. 1878, июнь. С. 337.

<sup>59</sup> По-русски, как и дальнейшие его письма.

<sup>60</sup> У Раевского здесь описка: «Репнина».

<sup>61</sup> Чтобы получить немного денег (франц.).

Веневитиновым. По немногим строкам в ее «Записках» Некрасов создал чудную картину ее свидания с Пушкиным на этом вечере:

Печальна была наша встреча. Поэт  
Подавлен был истинным горем.  
Припомнил он игры ребяческих лет  
В далеком Юрзуфе над морем.  
Покинув привычный насмешливый тон,  
С любовью, с тоской бесконечной,  
С участием брата напутствовал он  
Подругу той жизни беспечной.  
Со мной он по комнате долго ходил.  
Судьбой озабочен моею,  
Я помню, родные, что он говорил,  
Да так передать не сумею:  
«Идите, идите! Вы сильны душой,  
Вы смелым терпением богаты;  
Пусть мирно свершится ваш путь роковой,  
Пусть вас не смущают утраты!  
Поверьте, душевной такой чистоты  
Не стоит сей свет ненавистный.  
Блажен, кто меняет его суеты  
На подвиг любви бескорыстной!»

и т. д., – но кто не помнит этих строк?

Она ехала с лакеем и горничной. 1 января Александр Раевский писал сестре Орловой: «Путешествие Маши довольно плохо обставлено; при ней нет ни одного надежного человека. Не понимаю, как можно было не принять всех надлежащих мер; кажется, стоило позаботиться. Кроме того, она едет с взвинченной головой; я предпочел бы, чтобы она предприняла эту поездку только из сознания долга, а не по чувствительному порыву. Теперь Бог знает, когда она вернется».

Глубоко и сильно было горе отца. Оно сломало его крепкую натуру, и он недолго пережил разлуку с Машей. Уцелели два его письма к старшей дочери, писанные вскоре после отъезда Волконской. Их нельзя читать без волнения.

«Ты не совсем справедливо судишь, мой друг Катенька, – пишет он 20 марта 1827 г. – И ты также несколько подвержена экзальтации, но энтузиазм в некоторых случаях, до некоторой степени, есть дар Божий, переступая же черту, обращается в сумасшествие.

Если бы я знал в Петербурге, что Машенька едет к мужу безвозвратно и идет от любви к мужу, я б и сам согласился отпустить ее навсегда, погresti ее живую; я б ее оплакал кровавыми слезами, и не менее отпустил бы ее. Если б ты была в ее несчастном положении, я б сделал то же.

Возвратясь из Петербурга, я узнал от брата твоего и сестер, что М. им говорила, что муж бывает ей несносен. Муж и отец, погубив жену, как погубил Волконский, теряет все свои права на сердце жены своей; священные и светские законы уничтожают справедливо брак. Но если из-за этого сердце жены влечет ее к мужу, как я полагал М., тогда никто не должен препятствовать ей в исполнении ее желаний. Я то и сделал, но полагал не без причины после, что она знала, что она едет навсегда, и что она меня обманывала. – Письмо ее, вчера полученное, доказывает мне противное, – но не менее она не чувству своему последовала, поехав к мужу, а влиянию волконских баб, которые похвалами ее геройству уверили ее, что она героиня, – и она

поехала, как дурочка. Нельзя мне не негодовать на нее: она должна иметь более доверенности ко мне и к моему рассудку, чем к скверным В-м; мне и спокойствие, и слава ее должны быть драгоценны. Если б я мог надеяться, что ее заблуждение не исчезнет, тогда б я не жалел о ее поступке; но это не в существе вещей, а между тем она единокровного своего сына оставила без слезинки!

Мой друг! сердце отца не может сохранить долго огорчения своего на детей своих, и источник оного доказывает привязанность мою к ней. Я не показал ей ни капли оного и никому не дал подозревать его, кроме тебя. Адресуясь с оным к тебе, я выбрал того, кто не будет возбуждать его. Мой друг, если бы ты знала, что мне стоит Машенька здоровья, ты б извинила мою чувствительность.

Письмо ее от 29-го января, писанное из Иркутска, принесло не малое утешение. Или она не знает, что ей не позволено будет возвратиться, или сие запрещение существует только для удержания жен несчастных от поездки в Сибирь. Милосердый Государь наш не будет наказывать несчастных и невинных жертв своей любви к мужьям за оную, и, конечно, через некоторое время им позволено будет возвратиться. Дай Бог мне дожить до этого! Я тебе говорю, мой друг, что письмо ее усладило мою горечь, и в самую нужную для сего минуту, ибо за час до получения оного я писал к Машеньке, и писал в первый еще раз по ее отъезде».

Второе письмо писано месяцем позже, 17 апреля.

«Неужто ты думаешь, мой друг Катенька, что в нашей семье нужно защищать Машеньку, Машеньку, которая, по моему мнению, поступила хотя неосновательно, потому что не по одному своему движению, а по постороннему влиянию действует, но не менее она в несчастии, какого в мире жесточе найти мудрено, мудрено и выдумать даже. Неужто ты думаешь, что могут сердца наши закрыться для нее? Но полно и говорить об этом. В письмах своих она все оправдывает свой поступок, что доказывает, что она не совсем уверена в доброте оного. Я сказал тебе, мой друг, один раз: ехать по любви к мужу в несчастии – почтенно. Не будем возвращаться к этому предмету. Дай Бог, чтобы наша несчастная Машенька осталась в этом заблуждении, ибо опомниться было бы для нее еще большим несчастием»<sup>62</sup>.

И точно для того, чтобы довершить свой портрет, он пишет в конце этого письма по поводу отставки А. П. Ермолова: «Ермолов заслужил свое огорчение, но не могу не жалеть об нем. Он не великодушен, поэтому будет несчастлив: привыкши быть видным человеком, ничтожность его будет ему мучительна». Сам Раевский не любил громких почестей и всего охотнее, по словам его биографа, «терялся в сельском убежище среди семейства своего».

## XIV

Орлов отделался легко: полугодичным комфортабельным заключением в крепости да увольнением со службы, Лорер рассказывает, что А. Ф. Орлов выбрал для ходатайства за брата ту минуту, когда царь шел приобщаться. Сначала Николай отказал ему, но А. Ф. Орлов просил, умолял, обещал за прощение брата посвятить Николаю всю свою жизнь, – и царь, наконец, уступил. «Ночью, – говорил Лорер, – приехал за М. Орловым возок, и так как он недалеко от меня сидел в каземате, то я видел, как Подушкин сильно суетился, как одели генерала в шубу, как его с низкими поклонами усаживали и увезли»<sup>63</sup>.

Герцен, без сомнения, был прав, сказав позднее, что если Орлов не попал в Сибирь, то это была *не его вина, а его брата*. Не будь Николай I так обязан Алексею Орлову, и, главное, не нуждайся он и дальше в нем, он не выпустил бы из своих рук Михаила. Есть веские основания думать, что он считал М. Ф. Орлова одним из главных *закулисных* виновников заговора.

---

<sup>62</sup> Последняя фраза написана по-французски.

<sup>63</sup> «Из записок декабриста». Русское Богатство. 1904, март. С. 55.

Это, конечно, о самом Николае рассказывает Розен, что по окончании суда над декабристами «одно очень важное лицо сказало своим приближенным: «Орлова следовало бы повесить первого»<sup>64</sup>[22]. Точно так же думал вел. кн. Константин Павлович: когда Николай написал ему, что Орлов знал о намерении Якубовича, он отвечал 14 июня 1826 г.: «Одна вещь удивляет меня – говорю тебе это прямо: именно, поведение Орлова, и как он сумел выйти сухим из воды и избежать суда»<sup>65</sup>. И еще много позднее, в декабре 1832 г., когда был открыт в Тифлисе заговор, имевший целью вернуть Грузии независимость, Николай писал Паскевичу: «Г.-м. кн. Чавчавадзе был всему известен и, кажется, играл в сем деле роль, сходную с Михайлою Орловым по делу 14-го декабря»<sup>66</sup>.

16 июня 1826 г. относительно М. Ф. Орлова последовала высочайшая резолюция: «во уважение прежней отличной его службы и вменяя в штраф шестимесячное содержание в крепости», приказано отставить его от службы с тем, чтобы и впредь никуда не определять, и с обязательством безвыездно жить в деревне; местному же начальству иметь за ним бдительный тайный надзор<sup>67</sup>. 19 июня Орлов был уже в Москве, в объятиях своей жены. Она родила через несколько часов после его приезда. 30 июня, извещая свою сестру о своем освобождении и о благополучном рождении дочери, он пишет: «Следственно, все мои несчастья кончились, славу Богу, и могу я надеяться на спокойную и счастливую жизнь в семейственном круге. Что же касается до помыслов о службе и блестящем состоянии в обществе, вы знаете так же, как и я, что в душе моей все таковые мысли давно уже исчезли. Спокойствие и счастье в умеренности, вот мой удел. Он не хуже удела прочих для благоразумного».

Спокойствие и счастье в умеренности – как это было далеко от мечтаний о бурной жизни за родную страну, от надежд на «событие»! Правда, в эту минуту Орлов ошибался: как человеку, спасшемуся из кораблекрушения, ему казалось, что на свете нет ничего желаннее тихой пристани и семейного очага. Но он не догадывался, как скудно окажется это счастье в умеренности и как будет он томиться до конца. Лучше бы ему было не спастись так удачно!

Ближайшие годы он жил в своей калужской деревне, занимаясь хозяйством, заводом и политической экономией. В 1831 году он сделал попытку выйти опять на сцену: он обратился к Николаю с просьбой позволить ему вступить в военную службу рядовым. Николай велел сообщить ему, что ему разрешается жить в Москве и чтобы прислал своего сына для воспитания в Пажеском корпусе. На это Орлов отвечал, что с благодарностью принимает разрешение жить в Москве, сына же своего хочет воспитать сам<sup>68</sup>.

И вот он переехал в Москву, где купил и великолепно отделал себе большой дом на Пречистенке<sup>[23]</sup>. Здесь он и прожил до смерти, все время под тайным надзором; лишь незадолго до смерти, в 1841 г., ему был дозволен и въезд в Петербург. Он занял видное место среди московского общества, войдя в круг тех передовых людей, которые собирались в салонах Свербеевой, Елагиной или у него самого. Всех ближе он был с Чаадаевым; их связывали долготелая дружба и общность положения. Орлов пользовался большим уважением молодежи, как либерал и западник. У него бывал молодой Герцен, и Пушкин, наезжая в Москву, знакомился у него с литературной молодежью из «Московского Наблюдателя»<sup>[24]</sup>.

Герцен художественно изобразил Орлова в последний период его жизни<sup>69</sup>. Герцен познакомился с ним в начале 30-х годов. «Тогда он был еще красавец: «чело, как череп голый», античная голова, оживленные черты и высокий рост придавали ему истинно что-то мощное.

---

<sup>64</sup> Барон А. Е. Розен. М. Н. Муравьев. – Русская Старина. 1884, янв. С. 69.

<sup>65</sup> Шильдер. Николай I. Примеч. № 519.

<sup>66</sup> Русский Архив. 1897, янв. С. 9.

<sup>67</sup> Остаф. архив. I. С. 459; Шильдер. Николай I. С. 447.

<sup>68</sup> Из писем Кристина. – Русский Архив. 1884. № 6. С. 148.

<sup>69</sup> Соч. Герцена. Русск. изд. Т. VI. С. 4 сл. Т. II. С. 131.

Именно с такою наружностью можно увлекать людей. Возвращенный из ссылки, но не прощенный, он был в очень затруднительном положении в Москве. Снедаемый самолюбием и жадной деятельностью, он был похож на льва, сидящего в клетке и не смеявшего даже рычать. Faute de mieux<sup>70</sup> он окружил себя небольшим кругом знакомых и проповедывал там свои теории; главное лицо по талантам и странностям занимал в этом кругу Чаадаев. Подавленное честолюбие, глубокая уверенность, что он мог бы действовать с блеском на высших правительственных местах и воспоминание прошедшего, желание сохранить его как нечто святое, ставило Орлова в беспрерывное колебание. «Стереть прошедшее» и явиться кающейся Магдалиной, говорил один голос; «не сходить с величественного пьедестала, который дан ему прошедшим интересом, и оставаться окруженным ореолом оппозиционности», говорил другой голос. От этого Орлов делал беспрерывные ошибки, вовсе без нужды и без пользы громко и иной раз унижался и приобретал один стыд. Ибо те, перед которыми он это делал, не доверяли ему, а те, которые были свидетелями, теряли уважение... И в самом деле, неприятно было видеть на московских гуляньях и балах Михаила Федоровича в то время, как все его товарищи ныли и уничтожались на каторге. Орлов не умел носить траур, который ему повелевала благопристойность высшая».

«От скуки Орлов не знал, что начать. Пробовал он и хрустальную фабрику заводить, на которой делались средневековые стекла с картинками, обходившиеся ему дороже, чем он их продавал, и книгу он принимался писать: «О кредите»<sup>71</sup>, нет, не туда рвалось сердце, но другого выхода не было. Лев был осужден празднично бродить между Арбатом и Басманной, не смея даже давать волю своему языку».

Герцен оставил Орлова в 1834 г и снова увидел уже незадолго до его смерти, в 1841 г.: «Он на меня сделал ужасное влияние: что-то руинное, убитое было в нем. Работавши 7 лет и все по пустому, чтоб получить поприще, он убедился, что там никогда не простят, что ни делай. А юное поколение далеко ушло и с снисхождением (а не с увлечением) смотрело на старика. Он все это чувствовал и глубоко мучился, занимался отделкой дома, стеклянным заводом, чтоб заглушить внутренний голос, но не выдержал».

Орлов умер в Москве в 1842 г., 18 марта, в день сдачи Парижа.

«Он умер спокойной, величаво, – говорит Герцен. – Все путное в Москве показало участие к больному, даже незнакомые. Оценили, поняли, благословили в путь. Толпа народу была на отпевании и проводила его. После его смерти полиция опечатала бумаги и отослала в Петербург».

Внуки Орлова хранят листок бумаги, где рукою Чаадаева написан проект надгробной надписи другу: «Здесь покоится прах ген.-м. М. Ф. Орлова. Современники помнили, что он участвовал в достославном увенчании всенародной войны против Франции, подписав 1814 года, марта 18, сдачу Парижа. Друзья любили его добрую душу. Боже, помилуй эту добрую душу! Родился 1788 года, скончался 1842 года, марта 18»<sup>72</sup>.

Иного рода эпитафию написал ему Герцен в «Былом и Думах»:

«...В Люцерне есть удивительный памятник; он сделан Торвальдсеном в дикой скале. Во впадине лежит умирающий лев; он ранен на смерть, кровь струится из раны, в которой торчит обломок стрелы; он положил молодецкую голову на лапу, он стонет, его взор выражает

<sup>70</sup> За неимением лучшего (франц.).

<sup>71</sup> Книга Орлова «О государственном кредите» вышла анонимно в 1833 г. и позднее (1840) была переведена на нем. яз.: см. Русский Архив. 1899. I. С. 633–34.

<sup>72</sup> Шевырев в 1843 г. написал некролог Орлова и посылал его для прочтения Чаадаеву. В Императорской Публ. Библиотеке находится рукописное письмо последнего к Шевыреву без даты: «Покорнейше благодарю вас, милостивый государь Степан Петрович, за сообщение вашей статьи умной, благородной. Все друзья и ближние нашего доброго Орлова вам за нее скажут спасибо. Без вас он бы пропал без вести. От всей души желаю, чтоб с вами цензура обошлась милостиво. Душевно вам преданный П. Чаадаев». Цензор не пропустил этой статьи, назвав Орлова «каторжным». – Остаф. архив. IV. С. 232.

нестерпимую боль; кругом пусто, внизу пруд, все это задвинуто горами, деревьями, зеленью; прохожие идут, не догадываясь, что тут умирает царственный зверь.

«Раз как-то долго сидя на скамье против каменного страдальца, я вдруг вспомнил мое последнее посещение Орлова...»

А остальные наши герои?

Гроза 14-го декабря убила их всех, но по-разному. Если Орлова она отравила ядовитыми газами, которые медленно убивали его в продление 16-ти лет, то старика Раевского она контузила на смерть. Он умер в сентябре 1829 г. Он давно простил свою Машеньку. Он делал выговоры сыну Николаю, который в своих письмах к сестре никогда не посылал поклона Волконскому<sup>73</sup>; а накануне смерти он сказал одному из своих друзей, указывая на портрет Марии Николаевны, висевший в его комнате: «Вот самая удивительная женщина, какую я видел»<sup>74</sup>.

Александр Раевский так и не вернулся больше на службу и всю свою остальную жизнь проходил «отставным камергером». Он вернулся в Одессу и жил то здесь, то у Браницкой, смотря по тому, где жила Воронцова. В 1828 г. эта история кончилась: ее кончил Воронцов, и так же грубо, как четыре года назад с Пушкиным. Что собственно произошло, мы не знаем, но в один прекрасный день граф Воронцов послал письменное заявление полицеймейстеру одесскому о том, что Раевский, встретив его супругу на загородной прогулке, преследовал ее своими любезностями; он жаловался, *как частный человек* (а он был местным генерал-губернатором), угрожая в то же время прибегнуть к высшей власти, если не получит удовлетворения. – Получив эту бумагу, полицеймейстер лично отправился к Раевскому, который считал нужным дать письменный отзыв. Он отвечал, что не говорил графине ничего дерзкого. «Мне весьма прискорбно, – писал он, – что граф Воронцов вмешивает полицию в семейственные свои дела и через то дает им столь неприятную гласность. Я покажу более умеренности и чувства приличия, не распространяясь далее о таковом предмете. Что же касается до донесений холопий его сиятельства, то оные совершенно ложны»<sup>75</sup>.

В это время старик Раевский еще был жив. О дальнейшем ходе дела красноречиво повествует его письмо на имя Николая I от 12 июля 1828 г.:

«В. и. в., всемилостивейший государь, граф Воронцов извещает меня письмом, что сын мой, по высочайшему вашему повелению, выслан из Одессы в Полтаву за разговоры его против правительства и военных действий, оправдываясь предо мною, что он сему не причиною.

«Тридцать с лишним лет я знаю графа Воронцова.

«Несчастливая страсть моего сына к графине Воронцовой вовлекла его в поступки неблагоразумные, и он непростительно виноват перед графинею.

«Графу Воронцову нужно было удалить моего сына, по всей справедливости, что мог он сделать образом благородным: графиня Браницкая могла о сем просить вас для спокойствия семейного. Но он не рассудил сего. Граф Воронцов богат, военный генерал-губернатор, может деньгами и другими награждениями найти кого донести и присягнуть в чем угодно графу Воронцову.

«Всемилолюбивейший государь, сын мой не в состоянии говорить ни мыслить против правительства; накажите его за его неблагоразумие, но не по клевете, на него внесенной; первое может его ввести в рассудок, а последнее – погубить; если же я обманул вас, я преступник, накажите меня по вине моей.

«Имею счастье быть и проч. Николай Раевский, генерал от кавалерии»<sup>76</sup>.

<sup>73</sup> Воспоминания М. В. Юзефовича. – Русский Архив. 1880. III. С. 432.

<sup>74</sup> Русская Старина. 1878, июнь. С. 338.

<sup>75</sup> Рассказывают, что перед своим вынужденным отъездом из Одессы А. Н. Раевский нашел случай встретиться с гр. Воронцовой на улице или на бульваре, и при свидетелях сказал ей: «Je pars. Soignez bien nos enfants!» (или «ma fille») (Я уезжаю. Хорошо заботьтесь о наших детях (или «моей дочери») (франц.).

<sup>76</sup> Русская Старина. 1885, ноябрь. С. 402–403.

В Полтавской губ. Александр Николаевич оставался заточенным довольно долго; еще год с лишним спустя он только по специальному разрешению мог съездить оттуда к умирающему отцу. После смерти отца, когда его мать и сестры уехали жить в Италию, он заперся в Болтышке, чтобы привести в порядок расстроенное хозяйство и исправно посылать им деньги на жизнь. Из экономии он не завел своего стола, а ел то, что ела застольная, и одевался почти так же. Это продолжалось года три. За это время Болтышку посетила холера, и он сделал все возможное, чтобы облегчить бедствие, не жалея трудов и нимало не думая о себе; он всегда интересовался медициною. Самоотвержение, выказанное им при этом, могло быть обусловлено не столько альтруизмом, сколько известным складом характера; но в то время, говорят, один из его знакомых выразился по этому поводу: «Пушкин его демоном зовет, а люди в Болтышке ангелом». – Потом он получил право жить в столице, поселился в Москве, женился, скоро овдовел и затем весь отдался воспитанию своей малютки-дочери. Потом и дочь выросла и вышла замуж (за гр. Ностица), и уже не на что было тратить остаток так бесцельно растроченных душевных сил. Знавшие его рассказывают о сильном впечатлении, которое произвела на него книга Бокля; он прочитал ее всю сразу, – а увлекшись какой-нибудь книгой, он имел обыкновение ложиться в постель и приказывал затворить ставни в комнате, зажечь лампы и никого не впускать. Последние несколько лет он жил в Ницце, где и умер на 74-м году, 23 октября 1868.

И отца, и мужа, и братьев, и всех сестер пережила Екатерина Николаевна Орлова, умершая только в 1885 году.

## **Глава вторая**

### **В. С. Печерин<sup>77</sup>**

---

<sup>77</sup> Глава вторая, занимающая важное место в «Истории молодой России», здесь опускается, так как полностью входит в книгу «Жизнь В. С. Печерина», публикуемую в данном томе [Ред.].

## Глава третья

### Н. В. Станкевич<sup>[25]78{724}</sup>

#### I

Станкевичу идет 20-й год (он родился в 1813-м). Он мил, изящен, умен и беззаботен. Со стороны глядя, можно подумать, что он счастлив и живет непосредственно всем существом. Но это не так: едва заметная трещина уже бороздит его ясный образ. Ему чего-то недостает, какое-то неясное чувство томит его минутами. Что же это? – Это избыток душевной энергии, не находящей исхода, не тяжкая мука душевного страдания, а светлая опьяняющая грусть, от которой сердце ширится и на глазах выступают слезы.

Душа полна через край, хочется перелить в чужую душу избыток чувства, но люди или не понимают, или скажешь совсем не то, что хотел сказать, «потому что человек, которому говоришь, как-то самым видом своим сбивает сказать не то, что чувствуешь, а другое»<sup>[26]</sup>. Пришел с лекций, подумался, поболтал с товарищем, послал Ивана в книжную лавку за книгой, а сам, переодевшись, сел к столу, раскрыл Коха и... задумался; что-то проскользнуло по душе, что-то в ней зашевелилось, и быстро, как летнее облако, надвинулось знакомое чувство – полу-грусть, полувдохновение. Невыносимо! Пробираешь излить душу в стихах – стихи не клеятся, возьмешь аккорда два на фортепиано, но звуки режут слух, – а сердце сильно бьется, на глазах слезы, и, кажется, одно небольшое напряжение, и чувство хлынет наружу. Станкевич определяет это душевное состояние, как безнадежность соединиться с тем, к чему душа стремится; а что это, к чему стремится его душа, он не знает. Счастлив, кто в такие минуты сильно полюбит, еще более счастлив художник, который разрешает это хаотическое чувство, воплотив его в стройном создании. А Станкевич не поэт и не любит; оттого его волнение бесплодно перегорает внутри и мучит.

Станкевич сам спрашивает себя, почему на него часто находит эта тоска, и перебрав разные причины – болезнь, заботу об экзаменах и пр. – решает положительно: потому, что он живет

Без божества, без вдохновенья,  
Без слез, без жизни, без любви<sup>[27]</sup>.

Его жизнь кажется ему сухой, скучной, досадной: «душа просит воли, ум пищи, любовь предмета, жизнь деятельности»<sup>[28]</sup>. Иначе сказать, избыток чувства ищет овеществиться: ему нужно из смутного волнения превратиться в определенное *упоение*.

Для человека, который, как Станкевич, лишен творческого дара, упоение вне любви достижимо лишь пассивным путем: он неспособен внутри доводить свое чувство до гармонического аккорда, ему нужен для этого внешний стимул. Наилучшим таким стимулом является искусство. Переживая вслед за поэтом или его героем волнующие их ощущения, душа живет полною жизнью, избыток чувства неопределенного, хаотического, выливается в реальные, хотя

---

<sup>78</sup> Письма Станкевича изданы впервые П. В. Анненковым в 1857 г. Они обнимают время с 1831 по 1840 г. и составляют том в 353 страницы. Его Сочинения (стихи и проза) изданы А. И. Станкевичем в Москве, в 1890 г. Настоящий очерк основан преимущественно на материале писем; кроме цельных выдержек, отмеченных кавычками, мы очень часто пользуемся в тексте отдельными выражениями писем, не указывая этого.<sup>[724]</sup>

<sup>[724]</sup> Гершензон имеет в виду книгу: Станкевич Николай Владимирович. Переписка его и биография, написанная П. В. Анненковым. М., 1857, а также: Н. В. Станкевич. Стихотворения. – Трагедия. – Проза. М., 1890.

и чужие, формы, мучительная своей бесформенностью Sehnsucht<sup>79</sup> уступает место стройной, осмысленной полноте чувства. Он советует Неверову прочесть два стихотворения Козлова: «На отъезд» и «Новые стансы»<sup>[29]</sup>. «Когда душа твоя будет в неопределенном грустном состоянии, прочти их: ты сосредоточишься, и тебя обнимет грустное, гармоническое чувство. Я вчера сидел неподвижно, повторяя стихи гладкие и задумчивые!»<sup>[30]</sup> Он – не Миньона, его не обманула любовь, безнадежность не воскрешает пред ним детских воспоминаний об Италии, – но, ведь слушая песнь Миньоны, он глубоко переживает ее страдания и тоску, он готов схватить друга за руку и сказать:

Dahin, dahin

Möcht ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn<sup>80[31]</sup>.

Действительность не дает никакого удовлетворения его повышенному чувству, и он отворачивается от нее, чтобы всецело погрузиться в искусство или душевную беседу с другом: здесь полный простор мечтам о такой жизни, где все – красота и упоение. «Приходи ко мне – пофантазируем»<sup>[32]</sup>, такие записочки он пишет Неверову. Оттого же он любит театр: «Излить свои чувства некому – там, в храме искусства, как-то вольнее душе... Театр и музыка располагают душу мечтать об искусстве, о его совершенстве, о прелести изящного, делать планы эфемерные, скоропреходящие... но тем не менее занимательные»<sup>[33]</sup>.

Так это напряжение, бесформенное чувство, не находя себе объекта в жизни, питается мечтами. Станкевич сам хорошо знает, что «прекрасное» его жизни – не от мира сего. И то, что он это знает, есть, наряду с избытком бесформенного чувства, его вторая отличительная черта. Он сильно чувствует – и тонко анализирует себя в самый момент волнения; в нем столько же рефлексии, сколько непосредственности. В результате получается такого рода двойственность: он живет мечтами, но в то же время смотрит на них со стороны. Он знает, что они призрачны, но он любит их, ему сладко с ними, и он играет ими, как дитя игрушками, и не хочет с ними расстаться, потому что вне их – скучная проза жизни. 1 января 1834 года, перед тем как ехать на бал в Благородном собрании, он в разговоре с одной знакомой жаловался на долгое молчание Неверова; та вздумала утешить его предположением, что Неверов, может быть, в дороге – едет в Москву. Предположение было нелепо, и Станкевич совершенно не верил ему, но оно было так соблазнительно, а Красов, склонный верить всему чудесному, так горячо доказывал его вероятность, что Станкевич был увлечен. Рассказывая об этом на следующий день в письме Неверову, он пишет: «Я видел, что это мечта, но она мне нравилась, очищала мне душу своей торжественностью»<sup>[34]</sup>, и ему стало грустно, когда тлетворный воздух бала спугнул его мечту. Вспоминая стих немецкого поэта: Nur der Irrtum ist das Leben<sup>81</sup> он проговаривается: «А может быть, то только и есть Wahrheit<sup>82</sup>, что мы называем Irrthum<sup>[35]</sup>. Впрочем, если и нет, то наше мечтательное счастье лучше действительного уже и потому, что мы, вероятно, наслаждения в этом так называемом счастье не нашли бы». Любопытное признание и верное пророчество: оно не замедлит оправдаться на самом Станкевиче.

Та, если так можно выразиться, платоническая полнота чувства, которую давали искусство, фантазирование и дружба, разумеется, не могла насытить алчущей души, тем более, что развитое сознание безошибочно определяло сравнительную ценность мечты и жизни. Здоровый инстинкт минутами внушал отвращение к бесплотным теням, населявшим душу; хотелось живой, определенной, личной страсти, в которой перегоравшее внутри чувство нашло бы себе полное воплощение, – хотелось любви. Он мечтает о разгульной грозе, которая пронеслась бы над жаждающей душой, о страсти пламенной и бурной: «Пускай бы опустошительный огонь ее

<sup>79</sup> Страстное желание, томление (нем.).

<sup>80</sup> Туда, туда, хотела б я, о, мой любимый, устремиться (нем.).

<sup>81</sup> Жизнь есть только заблуждение (нем.).

<sup>82</sup> Истина (нем.).

прошел по всему ничтожному бытию моему, разрушил слабые узы, которыми оно опутано, испепелил томительное горе и рассеял беспокойные призраки, блуждающие во мраке душевном! Я бы воскрес, я бы ожил! Если б эта любовь была самая несчастная... кажется, все я был бы лучше»<sup>[36]</sup>

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

## Комментарии

1.

Впервые – Гершензон М. История Молодой России. Тип. Т-ва И. Д. Сытина. М., 1908. XI + 315 С. Цензор и ценз. разр. не указаны.

2.

Отец Орлова, Федор Григорьевич, был братом Григория и Алексея Орловых, руководителей заговора 28 июня 1762 г., возведшего на престол Екатерину II.

3.

«Арзамасская» речь Орлова была произнесена 22 апреля 1817 г.

4.

Тугендбунд (Союз Добродетели) – патриотическое общество в Пруссии. Деятельность Тугендбунда оказала определенное влияние на становление декабристских организаций.

5.

В настоящее время приведенные Гершензоном сведения могут быть уточнены. Орден Русских рыцарей (так правильнее!) был основан Орловым и М. Дмитриевым-Мамоновым в 1814 г. (а не в конце 1817 г., как полагал Гершензон). С этим тайным обществом, имевшим целью установление в России олигархически-аристократического конституционного правления, было связано около десятка человек (среди них – Н. Тургенев, М. Н. Новиков и, видимо, Д. В. Давыдов). Хотя Орден и не заявил о принадлежности достаточно заметная роль в формировании декабристской идеологии.

6.

Недовольство тем, что в «Истории...» Карамзина он не нашел «памятника славы нашей и благородного происхождения», Орлов высказал в письмах П. А. Вяземскому от 4 мая и 4 июля 1818 г.

7.

Это назначение последовало 13 июля 1817 г.

8.

Речь Орлова, произнесенная 11 августа 1819 г., – попытка в духе Союза Благоденствия использовать легальное общество для пропаганды передовых идей.

9.

Эти письма (ныне полностью опубликованные) датируются соответственно 2 ноября 1819 и 20 декабря 1820 г. Они широко разошлись в списках и имели большой общественный резонанс.

10.

Пушкинисты начала XX в. без достаточных на то оснований полагали, что М. Н. Волконская (урожд. Раевская) была предметом долгого и глубокого чувства Пушкина. Впоследствии это мнение неоднократно оспаривалось.

11.

В Петербурге, до ссылки, Пушкин знал Байрона только понаслышке; на юге вместе с Н. Н. Раевским-младшим он пробовал переводить Байрона с английского оригинала, обращаясь за справками к юной Елене Раевской, прекрасно владевшей английским языком.

**12.**

К. Н. Батюшков был адъютантом Н. Н. Раевского во время европейской кампании 1813–1814 гг.; выразительный портрет Раевского создан Батюшковым в записной книжке «Чужое – мое сокровище». Восторженная характеристика Раевскому дана Пушкиным в письме к брату, Льву Сергеевичу, от 24 сентября 1820 г.

**13.**

Эти данные, основанные на тенденциозных показаниях Орлова, нуждаются в уточнениях. Судя по всему, Орлов стал членом Союза Благоденствия не в июле 1820 г., а в первой половине 1818 г.: его имя находится в списке так называемого Коренного Союза – группы членов-учредителей, игравших в обществе руководящую роль. В своих показаниях Орлов сознательно датировал вступление в Союз более поздним временем. Стремясь убедить Следственную комиссию в том, что его пребывание в обществе было весьма недолгим и почти случайным. Вывод Гершензона об отсутствии у Орлова «мысли об активной революционной деятельности» также нуждается в пересмотре: в свете сказанного становится ясно, что вся деятельность Орлова в Киеве и Кишиневе так или иначе служила целям Союза Благоденствия. Подробнее см.: Нечкина М. В. Движение декабристов. М., 1955. Т. 1. С. 181–184, 219–222 и др.

**14.**

В настоящее время ни версия Якушкина, ни опровержения его оппонентов не могут быть приняты безоговорочно. Большинство современных исследователей полагают, что Орлов действительно выступил на московском съезде Союза Благоденствия с крайне радикальными предложениями. Однако эти предложения были выдвинуты вовсе не для того, чтобы вызвать заведомо негативную реакцию сочленов и создать благовидный предлог для выхода из общества (версия Якушкина). Предстоящий брак – слишком сомнительная причина для отхода Орлова от активной политической деятельности: об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что наиболее смелые приказы Орлова по дивизии, его покровительство агитационной деятельности В. Раевского, участие в ложе «Овидий», связанной с Кишиневской управой тайного общества, приходится на время после женитьбы. Выдвигая свои «условия» Орлов был вполне искренен. Участвовавшие крестьянские восстания, волнения на Дону, серия европейских революций 1820 г. – все это создавало «зажигательную» атмосферу, могло вселять надежду на успех активных революционных действий. «16 тысяч под ружьем» (орловская дивизия) давали, казалось, этим действиям надежное обеспечение. Неудача предложения Орлова обусловлена тем, что осторожные теоретики-пропагандисты не могли в принципе принять дерзкий, несколько авантюрный план, включающий элемент риска и азарта – в духе военных переворотов XVIII в. Важнейшая литература, посвященная «орловскому инциденту» на московском съезде, указана в кн.: Павлова Л. Я. Декабрист М. Ф. Орлов. М., 1964. С. 86.

**15.**

Французский писатель Сен-Пьер (1658–1743), считался родоначальником широко обсуждавшейся в те годы идеи возможности установления всеобщего мира на началах разума. Изложение концепций Сен-Пьера Пушкин почерпнул у Ж.-Ж. Руссо (См. подробнее: Алексеев М. П. Пушкин и проблема «вечного мира» // Алексеев М. П. Пушкин. Л., 1972).

**16.**

Приказы Орлова по дивизии, призванные искоренить палочную дисциплину, создали ему исключительную популярность среди солдат. Тем самым обеспечивалась безоговорочная поддержка Орлову со стороны «нижних чинов» в случае революционного выступления. В настоящее время, помимо приказов, впервые напечатанных Гершензоном, опубликованы еще три приказа и две инструкции Орлова.

**17.**

3 декабря 1821 г. четверо рядовых Камчатского полка, по договоренности с фельдфебелем, вырвали из рук унтер-офицеров своего товарища, подвергнувшегося экзекуции по приказу ротного командира Брюхатова. Орлов не только не пресек «бунта», но отстранил капитана Брюхатова от командования.

**18.**

Ошибка Гершензона: адъютантом у Васильчикова был Н. Н. Раевский-младший.

**19.**

При разборе бумаг Александра I была обнаружена его записка (около 1824 г.), в которой Орлов был упомянут в числе возможных влиятельных «миссионеров» тайного общества.

**20.**

Фактогум – доверенное лицо.

**21.**

С. Волконский был отправлен в Сибирь 23 июля 1826 г.

**22.**

Возможно, подобная сентенция принадлежит не Николаю, а его брату, великому князю Константину Павловичу (ср. запомнившиеся современникам слова Константина Павловича, обращенные к А. Ф. Орлову во время коронационных торжеств: «А жаль, что твоего брата не повесили!»). В устах Николая публичное сожаление по поводу «помилования» Орлова звучало бы как неуместный упрек самому себе.

**23.**

Ныне Кропоткинская ул., 10.

**24.**

Гершензон не вполне точен: в 1836 г. Пушкин действительно встречался в доме Орлова с издателями «Московского наблюдателя» (см. его письмо к жене от 11 мая 1836 г.), однако познакомился с ними значительно раньше.

**25.**

Глава третья. Н. В. Станкевич. Глава создана на основе статьи – Гершензон М. Н. В. Станкевич (1813–1840). – Новый путь. 1904. № 11. С. 51–82. В Отделе рукописей РГБ в фонде М. О. Гершензона хранятся «Библиографические заметки о Н. В. Станкевиче и выписки из его сочинений и писем», 1904. Автограф, 14 лл. (ОРРГБ. Ф. 746. М. О. Гершензон, 6, 4), а также «Заметки о Н. В. Станкевиче», 1900-е гг. Автограф, 1 л. (ОРРГБ. Ф. 746, 6, 5).

**26.**

Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 26 марта 1833 г. – Станкевич Н. В. Переписка его и биография, написанная П. В. Анненковым. М., 1857 (далее – Переписка...). С. 8. В тексте «... ибо человек, которому говоришь... как-то видом уже сбивает сказать не то, что чувствуешь, а другое».

**27.**

Пушкин А. С. К\*\*\* («Я помню чудное мгновенье»), 1827 г. Из письма Станкевича Н. В. Неверову Я.М. 26 марта 1833 г. – Переписка... С. 9.

**28.**

Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 18 мая 1833 г. – Переписка... С. 13. В тексте издания 1857 г. «жизнь деятельности!»

**29.**

Козлов И. И. На отъезд («Когда и мрак, и сон в полях...») <1825 г.>, Новые стансы («Прости! уж полночь; над луною...») <1826 г.>.

**30.**

Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 1 июня 1833 г. – Переписка... С. 32.

**31.**

Гете И. В. Годы учения Вильгельма Мейстера (1795–1796), слова из первой песни Миньоны (1784), книга третья, глава первая. Из письма Станкевича Н. В. Неверову Я.М. 11 июня 1833 г. – Переписка... С. 35.

**32.**

Близкая фраза встречается в записке: Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 6 апреля 1832 г. «... я уже исповедался, заутреню будут у нас служить очень поздно, в 8 часов, а во время ее ты посидишь хоть у меня, – а до нее и после нее мы пофантазируем». – Там же. С. 5; и в письме: Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 18 мая 1833 г. «Ты любил побегать по двору в эту погоду. Когда бы здоровье, и я бы не отказался (сейчас только заметил я, что у бумаги поля загнуты, и что письмо надобно писать не так, как лекции С-а). Теперь бы мы с тобой пофантазировали...» – Там же. С. 14.

**33.**

Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 20 мая 1833 г. – Там же. С. 27.

**34.**

Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 2 января 1834 г. – Там же. С. 79.

**35.**

Фраза из стихотворения Ф. Шиллера «Кассандра» (1802). – Из письма Станкевича Н. В. Неверову Я.М. 20 мая 1833 г. – Переписка... С. 27.

**36.**

Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 15 сентября 1833 г. – Там же. С. 51.

**724.**

Гершензон имеет в виду книгу: Станкевич Николай Владимирович. Переписка его и биография, написанная П. В. Анненковым. М., 1857, а также: Н. В. Станкевич. Стихотворения. – Трагедия. – Проза. М., 1890.